

Затерялся далеко в глуши Якутии маленький таежный городок Вилюйск.

Здесь провел когда-то двенадцать лет мучительной ссылки, фактически одиночного тюремного заточения, великий Чернышевский. После двухлетнего заключения в одиночной камере Петропавловской крепости, после восьми лет отбывания каторги на рудниках Забайкалья он был отправлен сюда на вечное поселение. Царская администрация искала для поселения Чернышевского такое место, которое не только исключало бы всякую возможность побега и общения с внешним миром, но и обрекало бы узника на верную гибель.

Из всех отдаленных мест Российской империи самым подходящим оказался именно Вилюйск своими исключительно тяжелыми природными условиями, и прежде всего — полной оторванностью от мира.

Так после тюрьмы и каторги Чернышевского ожидала в Вилюйске новая, еще более страшная естественная темница. Крепче тюремных стен и замков стерегло здесь узника бездорожье на всем огромном пространстве этих гиблых мест и тяжелее тюремных сводов давила окружающая его бесконечно отсталая и нищенски-скудная жизнь.

Да и само помещение, куда был поселен Чернышевский, его новая «вольная» квартира, которую царская администрация в официальной переписке именовала «домом», была в действительности тюремным острогом. Его незадолго перед тем построили для участников польского восстания 1863—1864 годов и теперь отвели для одного Чернышевского.

В 1871 году Чернышевский был привезен в Вилюйск навечно. И только по прошествии двенадцати лет случайное обстоятельство — смерть царя Александра II, убитого террористической организацией партии «Народная воля» — изменило его судьбу. В результате негласных переговоров, на которые пошел новый царь с революционной партией, опасаясь повторения террористических актов во время коронации, Чернышевский в 1883 году был перевезен на поселение в Европейскую Россию, где и протекли последние шесть лет его жизни.

«Вилюйский узник» — эти слова стали как бы вторым именем Чернышевского. Так называли его современники. Так называем его и мы, вспоминая его в вилюйском заточении.

Вилюйские годы — наименее освещенный период жизни Чернышевского. Он провел их в полном одиночестве.

Кроме писем Чернышевского из ссылки, которые хотя и с огромной волнующей силой, но все же в условной и замаскированной форме раскрывали драму его вилюйской жизни, сохранились еще два-три случайных свидетельства. Многие же ее подробности остаются неизвестными и по сей день.

Автору этих строк довелось побывать в Вилюйске в 1931 году, когда там доживали свой век старики, помнившие живого Чернышевского. Почти пятьдесят лет отделяли то время от дней пребывания Чернышевского в вилюйской неволе. И, следовательно, лишь семидесяти-восьмидесятилетние старики могли быть очевидцами столь далекой поры и более или менее длительное время знать Чернышевского.

Воспоминания вилюйских старожилов по времени, когда они были записаны, — самые поздние мемуарные свидетельства о Чернышевском.

Описанию поездки в Вилюйск и рассказу о вилюйской неволе Чернышевского по воспоминаниям последних очевидцев посвящена эта книга.



ЛЕНОЙ-РЕКОЙ

С другим моим, художником Василием Павловичем Беляевым, мы отправлялись корреспондентами молодежной печати в далекую Якутскую республику. Мы начинали эту поездку с уединенного и обширного Вилюйского края. Это было не

такое уж обыкновенное путешествие. После сибирской железной дороги, после плавания пароходом вниз по реке Лене нам предстояло не одну сотню километров пробираться тайгой от берегов Лены на Вилюю и дальше по самой Вилюйщине. А затем, может быть, уже зимней дорогой выбираться семисоткилометровым дремучим трактом из Вилюйска на Якутск.

Мы выехали из Москвы в июле 1931 года. Якутская республика готовилась отметить свое десятилетие. И, естественно, мы прежде всего с жадным вниманием присматривались к тому, как эта бывшая окраина окраин, превращенная царизмом в огромную темницу, где томились в неволе и населяющий ее народ и многие поколения ссыльных революционеров, вступила на новый путь, как изменилась жизнь в местах бывлой заповедной глуши.

Но в глубине Вилюйщины особый интерес вызывал городок Вилюйск: мы надеялись найти там людей, помнивших Чернышевского. Правда, надежды на это были невелики: люди, побывавшие здесь еще до революции, свидетельствовали, что «по части воспоминаний о Чернышевском Вилюйск пуст».

Единственное воспоминание, записанное в девятисотых годах и опубликованное в 1928 году, составляло несколько коротких строчек.

Но, если даже в Вилюйске мы ничего не найдем, мы повидаем этот уголок земли, который так неразрывно связан с именем Чернышевского.

Ни в чем больше не сомневаясь, мы отправились в путь.

Пронеслись за окнами вагона просторы Сибири, промелькнул автомобильный путь от Иркутска до Лены, и вот уже проплывают за бортами парохода берега великой сибирской реки.

На всем земном шаре, пожалуй, мало найдется стран, которые имели бы такой величаво-прекрасный въезд, какой имеет северная, таежная Якутия по Лене.

У Качуга — первой пароходной пристани в верховьях — Лена не так еще широка.

Скорее резво, но еще не сильно ее течение (она пробежала от истоков двести—триста километров). Но в просторности ее долины, обнесенной высокими, крутыми берегами, угадывается будущая ее сила.

И день ото дня ширится на глазах путников великая река. Все глубже ее долина прорезает высокое плоскогорье, и все круче и выше поднимаются откосы ее берегов.

А поверх них уходят к поднебесью сперва луговые, а затем таежные массивы.

Кажется, идут и идут по нагорной крутизне бесчисленные отряды сосен, пихт, елей, кедров и лиственниц.

Трудно оторвать взгляд от этих картин, полных суровой, простой и вместе величественной красоты, и от многоцветного их отражения в прозрачной глубине реки.

Верхоленск, Жигалово, Усть-Кут (Осетрово) — первые пятьсот километров пути.

Лена наполнилась, развернулась, и уже как бы теряется ощущение ее протяженности — она открывается взорам огромными круглыми, как озера, зеркалами; пройдет одно такое озеро, и вот уже перед глазами второе...

За городом Киренском почти километровой ширью Лена идет к знаменитому скалистому ущелью, называемому «Щеками».

Здесь она пробивается между высокими отвесными скалами, одна за другой встающими на ее пути. Стиснутая в узком каменном желобе, Лена с силой полной воды, бурля, закручиваясь воронками, кидаясь из стороны в сторону, пробивается сквозь каменистую преграду.

Подойдет первая «Щека» — отвесная известняковая скала, — Лена минует этот барьер, и вот уже станет поперек течения металлически массивным монолитом новый отвес. И река, подобно сильному и своевольному животному, попавшемуся в западню, настойчиво ищет выхода на волю.

Еще несколько лбов подставят реке исполинские камни, пока за последним из них — «Пьяным быком», о который она ударяется с особенной силой, — не выйдет Лена снова к естественному своему ходу на просторных плёсах.

Расступятся берега, и густозеленые намывные острова на широком ложе реки кажутся венками, торжественно украшающими ее путь после преодоленных препятствий.

Перед Витимом Лена переходит границу Иркутской области и вступает в пределы Якутской Автономной Советской Социалистической Республики, входящей в Российскую Федерацию. Двадцать два ее района, раскинувшихся на необъятной территории, простирающейся вплоть до берегов Северного Ледовитого океана, расположены в основном (наиболее населенными своими местами) по Лене и ее притокам: Олёкме, Вилюю и Алдану.

Исполинским разветвленным стволом раскинулся Ленский водный бассейн на карте Якутии.

... Приняв воды Витима, Лена не только становится полноводнее, шире — меняется весь ее облик. По-другому шумит и плещется ее волна, речной ее простор уподобляется морю. Уже не крутые берега обрамляют ее, а лишь отдельные могучие

курганы сопровождают ее сильный и вольный бег.

У пристани Нюйской мы расстались с великой рекой. Пробежав около двух тысяч километров от истоков, Лена устремилась дальше — в 2500-километровый путь к океану: к Олёкминску, к знаменитым Столбам, исполинским причудливым утесам под Олекминском, к Якутску, к угольным Кангалассам, к устьям Алдана и Вилюя и дальше — в Заполярье. Нам же предстояло пересечь в седло и тайгою пробираться на Вилюй.

От пристани Нюйской — это место наибольшего сближения долин Лены и Вилюя — лежит кратчайший путь в Вилюйский обитаемый оазис.

НА НЮЙСКОЙ ТРОПЕ



Времястами километрами почти необитаемых и труднопроходимых таежных чащоб и топей отгородился Вилюйский край даже от самого кратчайшего к нему пути. Только таежными тропами, каждый метр которых меряется медленным шагом завьюченного или заседланного коня, и в наши дни можно проникнуть сюда. И лишь искусство и опытность следопытов тайги—якутских проводников — да выносливость и терпеливость ко всему привычных якутских коней позволяют эту преграду преодолеть.

Это тот самый барьер, за которым находятся недавно открытые коренные месторождения якутских алмазов. Именно Вилюйский край, его труднодоступные дебри, стал первой алмазной сокровищницей нашей страны. Кордоны безлюдья и бездорожья, подобно сказочному чудовищу, не подпускающему к кладам, и в наши дни преграждают доступ к алмазу — редкому пришельцу из недр земных.

Эти же кордоны веками делали неприступной вилюй-скую заповедную глушь.

Никакого регулярного сообщения между Нюйской и ближайшим районным центром на Вилюе, Сунтаром, не имелось. Надо было ждать оказии.

К счастью, она скоро подвернулась: якут-ямщик на трех конях привез путников с далекого Вилюя.

С ним и с отправляющимся одновременно ямщиком почты — караваном в шесть заседланных и завьюченных коней — снаряжались мы в путь по Нюйской тропе. Хозяин попутных коней Дмитрий Оммуков, маленький и суетливый пожилой таежник, был особенно активен, пока договаривались о цене. Но, как только начали снаряжаться в путь, сразу же стал во всем заметнее ямщик почты, Павел Винокуров. В противоположность своему товарищу, это был спокойный, рослый якут с очень внимательным, пристальным взглядом. Хотя он был и моложе, но опекал в пути старшего товарища, как более опытный и бывалый проводник.

Вот уже тщательно распределены по коням, уравновешены и приторочены вьюки (дело немаловажное в таком пути), и наши ямщики, посвистывая и покрикивая «хот! хот!» — якутское «н-но!», — повели свой караван по зеленой, веселой и пока что сухой тропе.

За деревней Нюйской заросли молодых сосен постепенно перешли в красный сухой бор. Вскоре открылась река Нюя, с чистым, как почти у всех рек вилюйской тайги, руслом, в кайме песчаных берегов и отмелей, с серебряными купами тальника; берега ее особенно богаты строевым лесом.

А затем тайга быстро засырела, замшела, и подступили, вселяя тревогу в сердца путников, первые, никогда не просыхающие здешние грязи.

Оставшись наедине с нашими спутниками-якутами, мы постепенно, от слова к слову, узнавали, что «конь» — это «ат», что «имя» — это «аат» (кстати сказать, это два первых слова всех якутских букварей), что «солнце» — это «кюн», что «человек» — это «кигй» и что «вечер» — это «киегё», что «озеро» — это «кёль», что «дождь» — это «самыр», и что «уот-оттор» это значит «зажигать огонь», «делать привал».

Словно заново познавался и переименовывался весь мир.

Запомнилось, как быстро и ловко, в каких-нибудь полчаса, ямщики соорудили для первого ночлега просторный балаган. Появилась между сосен перекладина на прочных упорах, на нее оперлись ровные, одна к другой, березовые ветки, образовав зеленый навес; на земле расстелились лапчатые ветки елок, а поверх них — потники из-под седел. Незаметно было, кто и когда все это сделал.

Уже польхал косматым огнем костер, хорошо окопанный и разложенный с открытой стороны балагана, с той, куда будут обращены ноги спящих; подвешенные на козлах чайник и котелок начинали закипать.

И, может быть, во всем мире не было в эту минуту более уютного уголка, чем наш зеленый шатер.

День за днем, вытянувшись цепочкой, пробирался по бескрайной тайге наш маленький караван

Первым ехал Павел Винокуров, за ним—два его навьюченных коня с грузом почты в больших кожаных сумках; затем наш ящик и мы, пассажиры.

Послушно и умно бежали кони, во всем следуя головному коню и подчиняясь капризам тропы. С мерно покачивающимися по обеим сторонам вьюками, они были похожи на цирковых лошадей, исполняющих сложный фигурный бег.

Все пустынное, глуше, бездорожнее становилась тайга. Вскоре подступила двухсторонняя полоса поистине великих грязей Ньюской тропы. Казалось, конца-краю нет гиблым местам.

То и дело прерывали тропу или унылые бадараны — болота с огромными моховыми кочками и зияющими между ними окнами черной грязи, или открытые мрачные и зловещие грязевые омуты, или же водянисто-болотистые мари, заросшие карликовым березняком—ёрником. По сторонам подстерегали путников и вовсе опасные трясины, поросшие предательски соблазнительной яркой и нежной муравой.

Грязи эти раньше нельзя было ни объехать, ни замостить. В них приходилось искать брод и всякий раз, можно сказать, заново прокладывать тропу. И подолгу, пытливо просматривал своим внимательным взглядом Павел Винокуров каждый вновь открывшийся бадаран или грязевой омут, прежде чем начинать переход.

И только вечная мерзлота делает эти болота сравнительно неглубокими, проходимыми. Это именно броды, а не бездонные топи, но и в них кони могли завязнуть, выбиться из сил и погибнуть.

В наши дни с помощью могучей техники и по особо разработанному методу с большими трудностями сооружается в этих местах первая автомобильная магистраль к центру алмазной промышленности — городу Мирному.

На Ньюской тропе поистине можно было убедиться, что нет такого бездорожья, которое не преодолели бы выносливые якутские кони. Но и их порой охватывало смятение. Перед тяжелым бродом мечутся и они, прежде чем решатся ступить в отпугивающую трясину. Часто они идут по брюхо в липком болоте, грудью прокладывая борозду; идут километры, судорожно торопясь, так как промедление — это гибель. Или вдруг замирают, балансируя на какой-нибудь кочке, лишь бы удержать равновесие и отдышаться. Рухнув в грязь, они по-человечески стонут от натуги; и, одолев брод, дрожат от изнурения.

И нужно было или вовремя соскочить с коня и, прыгая с кочки на кочку бугристого бадарана, провести его, поддерживая на поводу, или же, наоборот, слиться с конем, стараясь сделаться невесомее, как здесь говорят — «придать ему крылья», когда он жадным и хлестким ходом преодолевает жидкую грязь.

После тяжелого брода один выход на сухую, твердую землю казался праздником.

Так мы ехали то в спешке, с криками и посвистами беря броды или продираясь через непролазные чащобы, то в долгом молчании, когда хорошая, ровная тропа как бы погружала нас в бесконечное зеленое безмолвие тайги и лишь посвистывали, проносясь между стволами, подобно птицам, бурундуки — маленькие красивые зверушки. Или же Павел Винокуров, нарочито громко окликнув уставших коней, вдруг затягивал песню; низкие горловые ее звуки были подобны звукам игры пастушеской жалейки.

Он ехал на светло-буланом маленьком иноходце.

Нет-нет, да и выдавали себя где-нибудь на ветвях высокой лиственницы зоркому глазу Павла непуганные здешние глухари или всплеснувшая у берега озера стайка перелетных уток. Тогда Павел, выхватив из-за седла старенькое свое ружье, крадучись уходил на дичь. И у ночлежных костров мы угощались обыкновенно или наваристым супом из глухарей, или запеченными в золе утками.

Часто подпоркой для рогатины, на которой закипал чайник или варился глухаринный суп, служили огромные рога сохатого, оставленные кем-то из таежников у излюбленных мест ночлегов.

Разговоры за таким ужином заходили об охоте на зайцев, белок, лисиц, рысей, сохатых — лосей, на «лесного старика» — медведя; о том, кого и куда бьют: белку — в глаз, медведя — в голову, сохатого — в сердце. Благо все это были темы вполне конкретные и сравнительно легко передавались при изъяснении не столько словами, сколько мимикой, жестами и даже целыми пантомимами.

Шли пятье суток, как мы выехали из Ньюской, и только два одиноких жилья встретились нам на пройденных двухстах километрах.

Удивляли встречи, когда, казалось, конца-краю нет безлюдным местам.

То вдруг издали донесется приближающийся треск ломаемых стволов и сучьев и громкие, певучие окрики. Это двигался гурт скота. По местному обычаю, один из погонщиков шагал впереди и, подобно быку, протяжно ревел, изображая вожака

стада.

То встретятся путники, пробирающиеся маленьким караваном, — два-три конника и несколько пеших скороходов. Последние, по большей части молодые пареньки, на вопрос о том, куда они держат путь, неизменно отвечали, что едут учиться в Якутск. Но вот перед вечером пятого дня мы как-то сразу подошли к жилым местам.

Расступились кочкарники, грязи и непролазные чащобы, и словно выбежали навстречу веселые березняки и разостланные под ними ровные зеленые луговины. Все удивляло; глаза, казалось, привыкли к одним безрадостным бадаранам.

Вот и первые жилища. Соскучившись по обитаемой земле — к тому же это были не просто дома, а начало какой-то незнакомой, неведомой жизни, — мы не смогли удержаться, чтобы не заглянуть в них. И, словно нарочно, для сравнения стояли рядом отживавшая свой век старая якутская юрта — массивное таежное сооружение, сохранявшее в себе черты разборного кочевого жилья, — и рубленый дом новой постройки, правда с традиционным якутским камельком.

Сепаратор и все принадлежности современного молочного хозяйства были на первом месте в новом доме; в опустевшем жилье стоял старый ручной жернов, не взятый хозяевами на новоселье.

Тропа, по-настоящему сухая и твердая, огибала гладко выкошенные и аккуратно огороженные покосы.

Тут и там курились вечерними дымками одинокие жилища.

Так неожиданно луговой землей, как бы спрятавшейся внутри тайги, стал раскрываться перед нами вилюйский обитаемый оазис.

Все вокруг было еще неизведанно новым для нас, когда в полных сумерках мы приблизились к одинокому жилью.

Строение с плоской крышей тонуло в сгустившейся темноте. Его стены можно было угадать только по белым заплаткам — окошкам, вместо стекол затянутых тряпочками. Казалось, нас ожидал невеселый, скупой ночлег: уж очень здесь скоро уснули после недавней зари. А мыто радовались, что возьем с собой еще теплые тушки полудюжины глухарей!

Пока развьючивали и расседывали коней, в доме кто-то проснулся и распахнул наружную дверь. Непроницаемым мраком смотрел проем двери. И постепенно, возникая из темноты, стал как бы складываться на наших глазах якутский «балаган дые», как называют якуты свой дом.

Послышался короткий треск сломанных лучин, и вскоре в жилье затеплилось слабое пламя. По мере того как оно разгоралось, проступила из темноты фигура человека.

Стало видно, что это женщина и что она одета в темное платье. Рядом с ней появилась девочка, поеживаясь спросонья.

Огонь разгорался где-то в стороне от входа. Над обмазанным глиной дымоходом взлетели первые искры, а в сумраке жилья появились очертания отдельных предметов: протянувшиеся вдоль стен скамьи, покатый, из тонких бревен потолок, свисающая с жердей одежда, темный бугорчатый земляной пол.

Едва переступив порог, мы увидели камелек. Два стоймя поставленных полена пылали в его глиняном жерле.

И с этого первого жилья и на всем последующем пути юртяная Якутия того времени открывалась путникам как страна неугасимо пылающих камельков. В этом студеном краю еще почти совсем не было печей, дающих ровное и устойчивое тепло.

Ненасытно пожирающий топливо камелек, согревающий, лишь когда он горит, и тотчас остывающий, как только прогорят дрова, все еще владычествовал здесь по силе обычая. Его открытое пламя, казалось, придавало особую привлекательность таежному жилью, и оно же приносило много зла и непоправимых бед обитающим возле него людям.

Женщина длинными щипцами собирает осыпающиеся с поленьев угли и кладет их в самовар. Девочка, тонкая и очень хрупкая, поднялась на просторный шесток, легкими движениями переставила поленья и подбавила новые. Заметно было, как умело она управляется с огнем.

Небогатое жилье осветил своим золотым огнем разгоревшийся камелек.

— Будем варить глухарей, — обратился Павел к хозяйке дома.

Оба они уже сидели рядом на особых, якутского фасона табуретках, у которых низ и верх одинаковы: два

квадратных донца соединены четырьмя легкими и прочными подставками.

Оммуков не принимал участия в хлопотах, вольготно расположившись на почетной гостевой скамье. Лукаво поглядывая своими маленькими глазками, он попыхивал трубкой.

Павел и женщина ощипывают птиц. Коричневые перья и желтые голые тушки под стать коричневым тонам всех предметов этого дома, и смуглому лицу Павла, и восковой матовости лица женщины.

Девочка тоже присаживается к старшим, чтобы помочь им, но, собрав несколько

перьев с пестрыми узорами, принимается играть ими, пуская их по воздуху и затем с грациозной легкостью ловя их.

На сковородке, поставленной на таганок, греются в талом масле оладьи.

Но вот и самовар и оладьи на столе.

Хозяйка наполняет густым наваром кирпичного чая чашки, похожие на цветки тюльпана. Как-то особенно женственно-приятен овал ее лица, взгляд и улыбка ее застенчивы и добры.

За чаем мы спросили о хозяине юрты:

— Где он? Спит или где-нибудь на покосе?

И тут только выяснилось, что мы находимся в доме Павла. Оказалось, что еще в пути, когда перед закатом бесчисленные стаи уток кружили над озерами, Павел, указав в сторону одного озера с жильем, окутанным густою зеленью, сказал, что это его «кыстык балаган» — его зимняя юрта. Выяснилось, что тогда же он говорил о предстоящем заезде к нему в «сайлык» — летнее жилье, но, видимо, мы не поняли его.

Наша беседа и теперь сильно подкреплялась жестами, мимикой.

Стали расспрашивать Павла, как же так: он, вернувшись домой, не поздоровался, не расцеловался с женой и дочкой.

Действительно, он вошел в свой дом до крайности спокойно и совершенно незаметно обменялся приветствиями.

Тогда Павел объяснил, что у них и расстаются и встречаются просто, даже не пожимая руки. Показывая, он сложил свои руки крест-накрест, при этом темные его глаза пристально посмотрели в одну точку: в воображаемые глаза человека, с которым встречаешься или расстаешься. Получилось по-настоящему выразительно и сильно.

Жена Павла переспросила его, о чем идет речь. И, когда он передал ей, она в смущении спряталась было за самовар, а потом скрылась за камелек.

Маленькая Мария еще раньше ушла спать. Она крайне смущалась, когда спрашивали ее имя, и также укрывалась в тени.

На столе уже дымилась миска с крепким супом из глухарей, вкусные куски их были разложены по тарелкам.

К концу ужина жена Павла поставила перед гостями чашки густого молока, но уже никто не в состоянии был к ним притронуться.

Спать мы укладывались в прохладном амбаре с ветхим, как дупло, камельком и со многими необыкновенными вещами. На полу, устланном лиственничной корой, стояли широкие сани, покрытые лубом; по стенам были развешаны оленья шубка с медвежьим воротником (драгоценность маленькой Марии), высокие сапоги из оленьих шкур — камысы, луки, самострелы, обшитые лосиной охотничьи лыжи.

Утром солнце осветило уединенную поляну.

За чаем к оладьям в растопленном масле прибавилось на столе самое лакомое таежное угощение: брусника в густых, слегка взбитых сливках.

Кроме маленькой Марии, утром появились за столом два мальчика. Ночью их не было видно, так как они спали в сенах. Вся семья была в сборе.

После чая девочка несколько раз деловито пересекла поляну, окружающую жилье.

Одета она была в сиреневое платье, просторное и длинное, как капот; на тонком ее тельце платье колыхалось колоколом, и забавно мелькали пятки ее ножек, обутых в легкие сапожки — торбаса. Девочка хлопотала по порученному ей делу — кормила рыжих, уже подросших лисят, которые содержались в просторном коробе из лиственничной коры. Девочка выдвигала кормушки и клала в них зверенышам пищу. Позже, немного поиграв с братишками, Мария вооружилась длинной палкой и направилась в лесную чащу, на свой таежный промысел: охотиться за быстрыми, как молния, бурундуками.

Мы снова были в пути. Всю дорогу Павел называл нам места, по которым мы проезжали. В ненаселенной полосе это были названия озер, речек, урочищ: Еловое, Камышовое, Низменное. В населенных местах все стало по-другому: зазвучали названия близлежащих сельскохозяйственных артелей: «Утренняя звезда», «Пахарь», «Ленинская тропа», «Таежный ударник».

Наш караван ненадолго заехал на двор Хаданского наследного (сельского) совета, куда Павел завозил

почту. Когда мы снова сели на коней, Павел весело сказал:

— Скоро, товарищи, Вилюй!

И перед вечером мы выехали к просторной речной долине с отлогими берегами, с чисто галькой и песчаными отмелями, с густым серебристым тальником. В полкилометра шириной двигалась здесь сильная, стремительная река.

Это был Вилюй в среднем его течении, приблизительно в полутора тысячах километров и от истоков и от устья. В обе стороны — к верховьям и низовьям — про-

стирался обширный вилюйский обитаемый оазис.

У переправы, прямо на береговой гальке, лежали странные чугунные шары. В первую минуту их можно было принять за старинные пушечные ядра, уцелевшие от каких-то стародавних времен. Но это были шаровидные образования бурого железняка, встречающегося по всему Вилюю, — словно бы примета многих ископаемых богатств, скрытых в недрах вилюйской земли.

Переправились через Вилюю и после еще одной ночевки достигли районного поселка Сунтар. Здесь мы и расстались с нашими первыми таежными спутниками — Павлом Винокуровым и Дмитрием Оммуковым.

Впереди лежал далекий путь по Вилюю.

ПО ВИЛЮЮ

Вилюйская дремучая глушь... Недавно все здесь — даже в сравнении с другими районами старой Якутии — представляло собой жизнь самую скудную и отсталую. Чернышевский оставил нам свидетельство о недавнем прошлом здешнего народа, несчастную жизнь которого он чувствовал за стенами своей тюрьмы, о людях, «каких нет жалче на свете», — как называл он вилюйских якутов.

«Я присмотрелся к нищете; очень присмотрелся. Но к виду этих людей я не могу быть холоден: их нищета мутит и мою закоружлую душу. Я перестал ходить в город, чтобы не встречать этих несчастных; избегаю тропинок, по которым бродят они по опушке леса...» — писал он в первых письмах из Вилюйска. И спрашивал себя: «Что это такое? Люди ли это или хуже забитых собак, животные, которым нет имени?» И отвечал: «Люди, и добрые, и не глупые; даже, может быть, даровитее европейцев... Но это жалкие, нищие дикари, каких нет жалче на свете...»

На всю огромную вилюйскую округу в миллион квадратных километров — единственный городок Вилюйск. От него семьсот километров до ближайшего городского центра — Якутска — и вообще куда-либо к берегам Лены, единственной дороги, выводящей в большой мир. По всем же остальным направлениям из Вилюйщины можно попасть лишь в вовсе нежилую тайгу, в студёные просторы тундры, к Северному Ледовитому океану. И не мудрено, что при старом режиме, под гнетом царской администрации и местных богачей — тойонов, да еще в условиях сурового севера жизнь здесь веками оставалась неподвижной. Даже в первые советские годы, принесшие в тайгу великие перемены, от многого по-прежнему здесь веяло седой древностью.

Еще недавно на Вилюе не знали обыкновенного колеса, так как по бездорожью на колесной повозке никуда не проедешь. Для местных хозяйственных перевозок здесь и летом пользовались санями, в которые впрягался бык. Во многих местах Вилюйщины неведом был и хомут, и кони не были приучены к упряжке. Уже после революции для разработки залежей каменной соли на притоке Вилюя, дикой красавице Кемпендяйке, были завезены сюда первые колесные повозки.

Не знали здесь ни домов с рублеными углами, ни вообще крепления деревянных частей на шипах; и поэтому таежные юрты просто как бы складывались из бревен, как может складываться из жердей легкое переносное жильё.

Здесь не было ткацкого станка, а привозная мануфактура была слишком дорога для основной массы населения; бедняки носили вместо белья и платья телячьи шкуры.

Скудное существование вели якуты, самые северные

скотоводы мира. Оттесненные когда-то на таежный север из более теплых степных краев, они и здесь, у Северного полярного круга, продолжали заниматься коневодством и разведением крупного рогатого скота.

С немногочисленных таежных луговин — аласов — они запасали в короткое лето корм для своего скота на всю долгую, с октября по апрель, зиму. Так сложился ни с чем в мире не сравнимый уклад жизни северных оседлых скотоводов-якутов. Рядом с ними обитали только бродячие оленеводы и охотники.

С крайне ограниченными запасами всего жизненно необходимого существовал здесь народ, завися от любой случайности; и последние месяцы изнуряющей зимы, когда кончались припасы, многие были вынуждены проводить лежа, в неподвижности, лишь бы сохранить последний остаток сил.

В страшной зависимости находились таежники от своих богачей-тойонов, которые, помимо власти, основанной на силе богатства, пользовались еще властью родоначальников.

В руках богачей, владевших сотнями голов скота, находились все лучшие покосы и пастбища. И за клочок сена, одолженного у богача, бедняк попадал к нему в кабалу —

в ее подлинном, исконном значении: он становился неоплатным должником, так как долг только возрастал и, как правило, переходил от отца к сыну, к внукам. И недаром одним из первых мероприятий советской власти на якутском севере была отмена кабалы, то есть этого неоплатного долга бедноты богачам.

Захватывая десятки луговых наделов, тойоны на правах родоначальников пользовались еще особой привилегией «поддерживать дыхание» особенно обедневших сородичей. Это значило полностью распоряжаться их судьбой. Десятки доведенных до последней степени за-кабаленности батраков работали на их усадьбах.

Пережитки родовых отношений, переплетаясь с кулацкой эксплуатацией, усиливали гнет.

Тысячей темных поверий была опутана эта жизнь, и иступленные пляски и пение шаманов, грохот их бубнов и бряцание амулетов на их камлальных плащах ¹ Шаманы совершали свои пляски (камлакие) в особых плащах, к которым были пришиты металлические побрякушки.

раздавались на Вилюе, может быть, чаще и громче, чем где-либо в других местах старой Якутии.

Мало с чем сравнимый мир уединенных таежных жилищ открывался перед глазами путников на Вилюй-щине той поры, к которой относится наш рассказ.

Таежные юрты были разбросаны поодиночке на расстоянии нескольких километров, а то и на расстоянии нескольких десятков километров одна от другой, в зависимости от жизненных ресурсов той или другой местности. И редко-редко две, три, четыре юрты стояли вместе у одного озера.

Но даже и при такой малочисленности их было почти вдвое больше против действительного числа хозяев, так как одни из них были летние, а другие — зимние. И, следовательно, какая-то половина юрт всегда пустовала.

Заметнее уединенных и одиноких жилищ были здесь кладбища или, как их иначе называет местное население, могильники. Обычно расположенные на бугристых лесных опушках, видные издали, они кажутся густыми поселениями, так как якуты ставят над могилами высокие бревенчатые срубы.

Одиночество и разбросанность таежных жилищ лишь усиливали закоснелую отсталость здешней жизни.

И тем отраднее была советская новь, поднимавшаяся над этой сказочной глушью.

Луговины Сунтара

Очень своеобразна вилюйская земля. Это бесконечное сплетение в самых различных количественных сочетаниях озер, луговин, болот и тайги.

В Сунтарском районе, с которого начинался наш путь по Вилюйщине, преобладали, все более разрастаясь, просторные луговины.

Это наиболее населенный вилюйский район. Здесь Вилюй отклоняется к югу более чем на градус, и в этой излучине, более мягкой и благоприятной по климату, расположены лучшие и обширные луговые угодья. Прежде здесь были сосредоточены владения крупных богачей. И самая плодородная сунтарская местность Хоча была почти полностью захвачена богачами.

Недаром эта же местность в годы гражданской войны была штабом всех белых банд. Сунтарский район простирается на 600 километров вдоль по течению Вилюя и на 200—300 километров по обе стороны от его берегов. Это масштабы целой области или даже края в местах более населенных. От одного жилья до другого здесь то один, а то и целых 75 километров!

Так, даже в самом густо населенном районе Вилюй-щины рядом с обитаемыми местами лежат почти безлюдные пустоши.

На Вилюе еще свежи были воспоминания о гражданской войне. В Сунтаре советские работники, и руководящие и рядовые, рассказывали о боевых походах, в которых они принимали участие и у себя на Вилюе, и на всей огромной территории Якутии.

Это была радостная и трудная пора первого пробуждения их гражданского самосознания, так как выступить на стороне красных означало для рядовых таежников пойти не только против богачей, от которых во многом зависело их существование, но и против своих старших сородичей.

Надо сказать, что гражданская война началась на якутском севере гораздо позднее, чем в других местах,— в 1922 году.

Когда повсюду уже отгремели бои, здесь, охватив все районы Якутии, началось движение белых. Да это и понятно: именно сюда, на далекую окраину, сбежались остатки разгромленной русской белогвардейщины. С их помощью якутские богачи поднялись на защиту своих богатств и начали поголовно истреблять всех, кто сочувствовал Советам.

Только три точки всей огромной Якутии — Якутск, Амга и Вилюйск — да маленькое вилюйское селение Нюрба выдержали осаду белых, отстояв в эти дни красное знамя.

Позднее начавшись, события гражданской войны продолжались здесь намного дольше.

Едва были разгромлены белые в 1922 году, как в 1924 году от Охотского моря через Якутию начал свой поход на Москву колчаковский генерал Пепеляев. И несколько якутских юрт на тихой лесной поляне «Сагыл-сыгы» («Лисья поляна») на востоке Якутии были превращены мужеством маленького красноармейского отряда в неприступную крепость, о которую разбились пепеляевские полки. Этот героический эпизод вошел в историю гражданской войны под названием «Ледяная оборона».

В 1927 году, когда во всей Советской стране торжественно отмечалась десятая годовщина Великого Октября, именно 7 ноября, в маленьком якутском поселке Абага, расположенном по соседству и с селением Амга, знаменитым по короленховскому «Сну Макара», и с названной выше «Лисьей поляной», произошло еще одно и по сей день мало кому известное боевое событие.

Шестнадцать школьников-пионеров маленькой Аба-гй, очутившись лицом к лицу с вооруженным врагом, отбили нападение крупной белой банды.

Выбравшись из глухих тущоб, белые надеялись захватить находившиеся в Абаге продовольственные склады и начать затем победоносное движение по Якутии. Стояла глухая ночь, когда они совершили свое нападение.

Незадолго перед тем они пустили ложный слух, будто снова уходят куда-то в глушь, в свои норы. Стоявший в Абаге красный отряд погнался за ними. В поселке же остались одни пионеры-школьники из интерната. Они готовились к октябрьским празднествам и несли охрану поселка.

Но белые только заманили красный отряд, сами же, сделав круг по тайге, вернулись к поселку. Всего шесть строений — школа, рядом с ней интернат, а через дорогу райсовет и кооператив, да поодаль изба-читальня и за оградой церковь, — вот и все, что представляла собой Абага. Но это был центр Советов огромной округи.

В ночной тиши близко подошли белые к строениям поселка, празднично украшенным хвойными гирляндами и красными стягами. И вдруг маленькая беззащитная Абага встретила их огнем...

Абагинские пионеры любили играть в войну. И как-то в перерыве между вечерними занятиями выбежали они гурьбой на улицу и, потревожив старые могильные плиты, стали сооружать из них баррикаду, прикрывающую поселок со стороны самой опасной — ближней таежной опушки.

Позже они распределили между собой обязанности: кто постарше и опытней — тому быть впереди; тем, кто поменьше, — на флангах. А уж к ружью-то таежные ребята привычны с малых лет.

Так вот и случилось: когда белые неожиданно напали, ребята очутились каждый на своем месте и встретили их огнем.

Получив отпор в ночном бою от абагинских пионеров и вынужденные на рассвете отступить, белые говорили: «Нас обманули лазутчики: донесли, что в Абаге находятся только пятнадцать мальчиков, а там оказалась целая рота красноармейцев».

На том все и кончилось — куда бы они ни кидались, их преследовала народная молва: «Вы хотите захватить всю Якутскую республику, а с вами управились пятнадцать пионеров».

Банда, которую отбили абагинские пионеры, пыталась поднять повстанческое движение в то время, когда в Якутской тайге проводился земельный передел, по которому батраки и беднота получали землю.

Лишь в 1930 году был пойман главарь банд на Вилюе — сунтарский богач Павлов.

Амнистированный в 1922 году, как и все сложившие оружие участники белого повстанческого движения, он вновь появился со своей бандой, как только стали создаваться первые таежные колхозы.

Сунтарцы — и молодые и старые люди — вспоминали о боевых днях, стараясь передать события в лицах, воссоздать образ людей той поры и их переживания.

В рассказах о событиях сунтарского района часто упоминался расположенный недалеко от Сунтара поселок Тайбахой, бывший улусный центр тойонской Хочй. Здесь при белых держали в заточении, пытали в застенках и казнили захваченных красных бойцов и просто бедняков, заподозренных в сочувствии Советам.

В пути все полней и полней раскрывалась перед нами Сунтарская округа в ее лучшей — прибрежной полосе.

Одна за другой разворачивались просторные луговины, окаймленные стенами золотых осенних лиственниц, словно объятых пламенем. Многие места оставляли впечатление поэтически-обаятельного таежно-лугового приволья.

Заканчивалась самая напряженная пора якутского хозяйственного года — сеноуборка.

Повсюду высились рядами дومتываемые стога. Люди, стоя по пояс в ворохах сена, длинными деревянными рогатинами подавали последние охапки стогометальщикам.

Были собраны запасы корма скоту на всю долгую зиму.

Начиналось огораживание стогов, чтобы их не растаскали конские табуны, и зимою

бродящие на подножном корму. И разгораживались убранные луга: туда теперь выпускали с летних пастбищ стада и табуны. Медленно бродили раскормившиеся за лето кони — им предстояло выдержать долгую зимнюю голодовку. Деловито дочинивали покосы коровы и мелкий рогатый скот. На подросших телятах были надеты деревянные намордники с рогульками, чтобы нельзя было подобраться к матке и сососать.

То тут, то там поблескивали золотым жнивьем колхозные нивы, и над их копнами, точно над высотой, взятой в бою, развевался красный флажок.

За ужином в таежном жилье вдруг появлялась на столе дымящаяся отварная картошка — и не привозная откуда-нибудь «из-за моря», а своя, таежная: в усадьбе якутско-скотовода, ставшего хлебопашцем, завелся и огород.

Тропа вышла к просторной водной глади, это озеро Сордогнох — Щучье. Оно залегло в горной пади, защищенное от ветров, глубокое, с небольшой у берегов полосой камышей.

По гладкому водному стеклу скользит легкая маленькая лодка рыболова.

Двухлопастное весло едва-едва притрагивается к воде. Ждем, пока лодка приблизится к берегу. В ней — глубокий старик монашеского вида. Это сходство придает ему высокая черная шапка, повязанная, как вуалью, сеткой накомарника.

Вот уже старик на берегу. На дне лодки трепыхается несколько красноглазок, а к борту — так, чтобы быть под рукою, — прислонено ружьецо. О, да это и рыболов и охотник!

Здороваемся. Старик снимает свою шапочку, и открывается ровная белизна зачесанных назад хорошо сохранившихся волос. Старик у восьмидесяти шести лет; на вопрос, «удачно ли охотится?», он трогательно ответил:

— Глаза слабы стали, не всегда увижу, и тогда не стреляю, но увижу — мимо не бывает. Уйдет в камыш — не увижу, но увидит глаз — ружье возьмет.

Да, глаз старика может не увидеть дичь, если же увидит, то старик не промахнется.

Но коротка была наша встреча: едва от дальнего берега на одно мгновение долетел к нам тихий говор отдыхающей перелетной стаи гусей, как восьмидесятишестилетний охотник снова был в лодке.

В пути по лиственничной просеке, уже усыпанной желтыми иглами, старик ямщик Дмитрий Федорович Иванов краткими притчами рассказывает о былом:

«Раньше богатые платили за невесту большой выкуп — по девяти—двенадцати коней, по девяти—двенадцати коров, по пять ведер водки да еще по пятьсот рублей деньгами. Бедняк платил одну-две головы скота и полведра водки. Зато и девушку победнее брал. Так и оставались потомственные богачи и потомственные бедняки».

«Богачи в долг давать любили. Даст пять рублей, а ты должен вернуть вдвое больше. Придет время, а тебе нечем отдать — уведет богач последнего быка».

«Бедному никогда не подружится с богатым. Но, если богач узнал, что бедняк заработал где-нибудь деньги, он зазовет его к себе и усадит играть в карты. Бедняку почетно быть гостем богача, он садится играть, если и не умеет. Богатый его обиграет, так и останутся у него сколоченные бедняком деньжата...»



«Был я молодой, захворал, лежал десять дней, уж без памяти был. Посоветовали к шаману меня свезти. Жил он за сорок верст. Носилки сделали, четыре человека несли. Шаман шумел надо мной, а мне и голову не поднять. Через три дня мне лучше стало. Люди говорят, будто шаман это сделал. А на самом деле мне поправиться время пришло...»

«Вот еще. Поп Трофим у нас был. Заболели у него глаза и так разболелись, что сперва один глаз видеть перестал, а потом и другой. Посоветовали попу к шаману ехать. Что станешь делать — согласился поп! Но, как шаман ни старался, ничего у него не получилось. Два обманщика на одной тропке сошлись — не в силах обманщик обманщику помочь...»

«Старшими над нами князя ¹ были. Поймали как-то вора: чужую скотину резал, сам кормился да еще мясом торговал. Посадили того человека в темный амбар. Стали допрашивать — не признается. Держат пять дней, держат неделю. Просится человек, чтобы его отпустили. Говорит он князю: «Я вам отдам лучшего своего коня и быка».

Князь коня и быка взял, и разбойника велел считать невиновным...»

На остановке председатель сельского совета, пожилой человек, говорит о многих происшедших в тайге переменах: и о земельном переделе, о хотонах (коровниках), отделенных от юрт, о кооперации, снабжающей население всем необходимым, о сепараторах, появившихся в каждой юрте, и о зарождающихся колхозах. И эта широкая и большая тема приобретает в его словах осязательную конкретность.

— Взять хотя бы вот это, — говорит он и трогает желтыми от табака пальцами отложной воротничок своей белой рубашки — Все мы теперь носим белье, а раньше ходили в телячьих шкурах и не снимали, пока не износится.

И эта деталь становится выразительнее многих слов. Она свидетельствует о больших переменах в жизни таежных людей.

Князь — в старое время высшее административное должностное лицо в наслеге.

Брат рассказчика, первый председатель этого же совета, был расстрелян белыми за то, что он выдал красным спрятанную купцами мануфактуру.

Проезжаем опустевшим улусным поселком, бывшим оплотом власти тойонов и князей. Как правило, они располагались среди лучших луговых угодий — в центре владений богачей.

При въезде в поселок тянутся уже полуразвалившиеся коровники на несколько сот голов, принадлежавшие кому-то из местных богачей.

На холме просторная луговина. Здесь совершались весенние кумысные празднества и моления — ысыэхи. Высятся два белых каменных креста, поставленных кем-то из богачей; на крестах вырезаны имена сыновей богача, в честь которых они и были поставлены.

На колоколах церкви — литая надпись о том, что именно о здравии богача-жертвователя и его жены должны были они звонить.

Стоит только отклониться на Вилюе в сторону от прибрежной полосы на двадцать — тридцать километров, как тропа засыреет, застелется корневищами, заскачет на кочках, и сразу же станут скуднее луговые угодья. А дальше пойдут пустые чащобы и кочкарники.

И если места людные и привольные соседствуют здесь с местами пустыми и скудными, то и относительная зажиточность соседствовала здесь с самой суровой нищетой.

Как-то в пути услышали мы рассказ нашего переводчика, молодого политпросветчика Сокорутова. Сидя в седле, повел он рассказ о встрече с матерью, с которой не виделся двенадцать лет.

В это время наши кони шли в темноте вслепую по малознакомой трудной тропе.

Мы проезжали неподалеку от тех мест, где жила мать Сокорутова, и, по-видимому, это напомнило ему встречу.

А может быть, его настроил на рассказ о былой безысходной нищете таежников сам переход от мест привольных к местам безрадостным и мрачным.

Сын бездомной батрачки, он был отдан на воспитание куда-то далеко на сторону, к родственникам, так как хозяин не соглашался держать батрачку с ребенком. В годы гражданской войны мальчик потерял родных, скитался по тайге, пока не попал в городе Олекминске в первый советский детдом. Стал учиться, затем уже в Якутске окончил курсы политпросветработы и был послан на работу в родной Сунтарский район.

— Послушайте, как я маму свою повидал, — начал Сокорутов. — Приехал я в наследный совет и спросил: «Где мама моя живет?» Мне указали. Сел я на коня, поехал. Подъезжаю: юрта стоит. Догадался: тут моя мама живет. Вошел я, вижу — сидит дряхлая старушка. Один глаз у нее совсем пропал... Узнал я маму свою, — продолжал Сокорутов. — Присел и помалкиваю. Спрашивают — в сторонке тут еще три женщины были: «Кто такой будешь? Откуда?» Говорю: «Здешний» и ничего больше не добавил. Будто мимоходом зашел. «Откуда идешь?» — опять спрашивают. «Из Олекмы», — говорю. «Что так?» — «Учился, а теперь возвращаюсь домой». Старушка на меня посмотрела, спрашивает: «Мой сын там, слышно. Давно я его не видела. Не знал ты его?» Назвала она мое имя. «Знаю, говорю, видел. Жив он, учится. Когда кончит учиться, хотел он к вам зайти». Говорю я, а старушка на меня так-то пристально смотрит. Один-то глаз у нее совершенно пустой, другой чуть-чуть видит. «Повидать бы мне его до смерти, — говорит мать моя. — Я совсем в конце моей жизни нахожусь». — «Придет ваш сын», — говорю я, а сам на старушку смотрю. Совсем она плохая стала, и нога-то у нее с трудом двигается. Сидит старушка на пустой лавке, рядом с ней сундучок — все имущество ее. Поднялся я тут со скамейки и говорю: «Смотрите же, мама, я сын ваш. Как же вы голоса моего не признали?» Старушка на скамейке зашевелилась. И слезы у нее закапали. «Не плачьте, а радуйтесь», — говорю. Вынул поскорее подарки, что привез ей: мануфактуру, платок, катанки, нитки...

Сокорутов рассказывал дальше, как мать просила его не уезжать; как он уток ей

настрелял, как пообещал бывать у нее.

— А как дальше помогать матери будешь, Григорьевич? — спросили его.

— Вот получше устроюсь и к себе ее заберу: мой священный сыновний долг!

Разговор оборвался: прервали его события, разыгравшиеся на пути.

Мы подошли к бадарану. Нельзя было разглядеть, насколько он широк и что лежало впереди. Но сразу же конь, идущий впереди, тяжело завяз.

Остановившись посреди кочарника, проголодавшиеся кони тянулись к траве, рискуя оступиться с кочек в трясину. Впереди проводники возились с завязшим конем — освобождали его от вьюков, поднимали.

Когда конь был поставлен на ноги, Сокоуртов ушел по кочкам в разведку. Вскоре он откуда-то издали подал голос, что бадаранходим.

Наутро с места ночевки Сокоуртов ненадолго отлучился, чтобы снова навестить мать. Но он не застал ее дома: она ушла к «соседям», то есть куда-то за несколько километров — поделиться радостью: к ней возвратился сын.

В селении Кутана мы встретили известного на всю сунтарскую округу сказителя якутских былин—олонхо-сута Семена Семеновича Афанасьева, по прозвищу «Сеньча».

Ранним утром вошел в лавку пушной фактории среди других покупателей, приехавших из наслегов, пожилой якут и принялся проверять весы, точно он явился с ревизией.

Был он довольно обыденной внешности: широкий прямой лоб, резкие морщины на лице, обвисшие усы и в косую сажень покатые плечи.

Но это был он, Сеньча, певец сунтарской округи, самой поэтичной и плодородной на Вилуе, где в прошлом было особенно много крупных властительных-богачей.

Шестидесятилетний Сеньча соединял в своем лице славу народного певца и авторитет «председателя населения», как нередко называют здесь председателей советов.

В одном человеке встретились седа старина и горячая злободневная современность. С самого начала беседы чувствовалось, что Сеньча не любит говорить много, что речь его лаконична, в переводе она становилась вдвое и втрое длиннее. В его словах часто слышалась усмешка.

...Приехав накануне в Кутану, мы остановились на ночлег в пушной фактории, новом внушительном строении, но по-прежнему освещенном камельками да слабенькими огоньками свечей.

Гостеприимный завмаг Иван Филиппович, культурный якут, черноволосый, с умным взглядом темных глаз, смотревших из-за очков в темной оправе, с гордостью показывал мануфактурные богатства фактории. Разговор зашел о вкусе якутских женщин на цвета и рисунки.

— Не любят светлые и пестрые расцветки, — говорил завмаг, держа в руках штуку нежной голубой ткани в горошек. — Совершенно не берут такую. Больше нравятся темные узоры.

Невольно припоминались одежды встречавшихся якутских женщин. Действительно, чаще на них были ткани фиолетово-сиреневых тонов с зубчатыми, остроугольными рисунками, подобные скромному оперению таежных птиц, или же это были одноцветные материи — зеленые, желтые, ярко-синие, — только оттеняющие смоль волос и зрачков у северных таежных девушек.

Не случайно наша беседа в таежной фактории началась о тканях — в якутской тайге это была злободневная тема: даже рубашку люди воспринимали как прочно завоеванное благо.

Незаметно разговор зашел о якутских народных певцах, встречи с которыми, конечно, нас интересовали.

Когда Сеньча наутро появился в фактории, по правде сказать, мы скорее всего ожидали увидеть в нем лишь хранителя традиций древнего былинного слова. И осторожно повели расспросы. Однако нам очень скоро пришлось отказаться от такого предвзятого представления.

Едва мы спросили Сеньчу, только ли старые олонхо поет он или складывает и новые песни, как он оживился.

— Складываю! — сказал он с усмешкой. — Из жизни своего района сочиняю, да больно уж часто обижаются люди. Олонхо вроде спектакля получаются, — пояснил он. — Настоящих имен хотя и не указываешь, но люди догадываются.

— Но почему же они обижаются? — переспросили мы старика. И все недоумения рассеялись, когда он заявил:

— Пою о дереве, пою о птице, чтобы меньше было обиды, а люди узнают себя...

Перед нами был сатирик, который и в образе деревьев и птиц умел высмеять людей. Постепенно из рассказа Сеньчи выяснилось, что больше сорока лет поет он олонхо, но только при советской власти, уже стариком, он открыто заговорил в своих песнях, а до этого приходилось говорить намеками через старинные богатые песни.

— Меня никто этому не учил, — рассказывал он. — Меня угнетали, вот и все. И я думал: «Почему это так? Почему же мне нельзя сказать о людях, от которых и я и другие терпели гнет?» Тогда я стал говорить через песни. Ночью у богача. Делаю по его заказу олонхо и даю людям намек. Народу-то съедется много. Пою о богатырях, о временах давних, а может быть, и никогда не бывавших, да только все равно задену богача. Богач не сразу смекнет, а бедняки понимают меня. Бывает, богач догадается, да уж дело сделано и оборвать песню неудобно.

Как же получалось, что старинные песни о славных богатырях становились у него песнями о тойонском владычестве над людьми?

Вот что удалось узнать от самого Сеньчи и от людей, рассказывавших о нем.

... Богаты и сыты родовитые, почтенные люди в песнях Сеньчи. Крепкие изгороди охраняют их широко раскинувшиеся усадьбы. Высокие коновязи с красивой резьбой украшают их чистые дворы.

Сотни голов гуляют в их табунах и стадах, откармливаясь на самых просторных и лучших луговых угодьях.

Выходят богачи на свои дворы. Оглядывают разбросанные вокруг свои и своих ближайших родственников усадьбы, благоухающие весенними травами луга и радостно думают: «У кого еще есть такие владения?»

На весеннем кумысном празднике — иссыхе — восседают они на почетном месте на зеленом лугу, кропят землю кумысом, произноса молитвенные заклинания: «Белый создатель¹, скорую кумысную закваску даровав

¹ Так называли якуты (главным образом зажиточная верхушка) бога христианской религии, в отличие от «черных» божеств шаманов

ший, плодovitый скот пославший нам, высокий дым, отгоняющий от скота комаров, поднявший, даруй нам счастье! Жбан наш кумысный такой глубокий да будет, чтобы, целой березой помешивая, дна его не достать».

— Так вот, — продолжал Сеньча, будто прославляя знатных людей, — что только пожелают, богатея, жили.

И обездоленные бедняки, слушая его песню, окидывали взглядом лежащие поблизости лучшие земли и не видели своего надела: где-то далеко лежал он — в самых пустых комариных кочкарниках. Поднимали слушатели глаза на хозяина дома — заказчика песни — и видели перед собой хорошо откормленное и неприятное лицо.

«Можно ли всем людям пользоваться одинаковыми наделами, когда у богатого — одна, две, три сотни голов скота, а у бедного всего-навсего одна, две, три худобушки?» — спросит у слушателей Сеньча. И у тойона шевельнется чувство благодарности к олонхосуту. Но следом Сеньча ответит тем, к кому по-настоящему обращается он с песней:

— Если и уступят тебе большой надел, кого станешь кормить? Свои думы, свое горе да несчастье станешь пасти на пышном аласе?

— Сытым должен гулять скот почтенного человека, — продолжал песню Сеньча, — а твоя худобушка прокормится дальним бестравным кочкарником, — много ли ей надо? А если пропадет, велика ли разница: одна или ни одной?! Пойдешь работать на господский двор, станешь чистить его коровники, потеть на его покосе, жиреть на сухой лепешке...

Так «прославлял» Сеньча в своих песнях богатых и знатных, и люди узнавали по отдельным словечкам певца самых знаменитых феодалов всей округи.

В те времена бродил он бездомным человеком, его приглашали к себе богачи и, прогнавшись, гнали и травили. Исчезал Сеньча, отсиживаясь где-нибудь в глуши, опять появлялся — начинал петь у простых людей.

Снова богач соблазнялся потешить себя звучным словом знаменитого певца, но вновь раздражался и прогонял его. Так расплачивался Сеньча за непослушное свое слово. Был он последним бедняком, хотя другой известный в улусе олонхосут, Дмитрий Кырылахов, действительно прославлявший тойонов и князей, жил богато и торговал в собственной лавке.

Но все это было когда-то. Теперь же Сеньча, запевая олонхо, начал с приветствия приезжим людям и в этом приветствии не забыл сказать и про себя, что он, маленький человек, живущий в глухом уголке якутской тайги, уже состарился и потерял свой звучный голос; что ему, в молодости пережившему времена царизма, довелось на старости увидеть начало века социализма.

Когда Сеньча запел среди многолюдного уже собрания, казалось, будто не он, а кто-то другой сидит на скамеечке в стороне. Он весь ушел в себя, вызывая в памяти нужное ему сильное и звучное слово.

Морщины еще глубже обозначились на его лице, сходясь у зажмуренных глаз; плотно сомкнутые веки лишь изредка пропускали темный огонь зрачков; на шее надулись синие вены. Сгорбился Сеньча, приложил ладонь к уху, проверяя на слух настрой своего голоса, то напряженно прерывистого, как тревожный птичий клеток, то переходящего на протяжный распев. Он вытащил из кармана большой зеленый платок,

встряхнул его и, не прерывая пения, вытирал испарину на щеках, на лбу и на шее. Сеньча раскачивался в такт стихам, в редкие передышки полной грудью, с шумом вбирая воздух.

Часто и дружно смеялись люди, слушая своего олонхо-хосута.

— Вот как поются якутские песни, да только у меня плохо получаться стало, — сразу перейдя на разговорную речь, прервал исполнение олонхо старик Сеньча.

Через несколько минут, уже спокойный, он стоял у стола, заложив руки за спину. Он готовился продиктовать



импровизацию к десятилетию Якутской республики, которую он назвал «О десятилетии улучшения жизни».

Он говорил, что тут нужна не одна песня, а целых пять: первая — о старой вере, вторая — «бог не существует, шаман обманывает», третья — о взятке, четвертая — о кабале и, наконец, пятая — о новой культуре.

Когда запись началась, старик вел себя так, как если бы всю свою жизнь работал с помощью стенографисток.

Пока Сеньча диктовал, люди говорили между собой о восходящей славе молодого сунтарского олонхо-сута Зверева¹, умеющего складывать совсем маленькие песни, которые может распевать каждый человек. Такое искусство было недоступно в полной мере старому Сеньче, скованному правилами былинного песнетворчества. Он с интересом прислушивался порой к этим разговорам о соревнователе по славе.

— Вот ведь как довелось, — говорил Сеньча на прощание, рассказывая о своей работе в совете, — в двадцать девятом году земельный передел проводил. А в Якутии это вроде второй революции было: скрытая той-онская власть сотряслась. А нынче вовсе не стало их власти над беднотой: захотели мы в колхозы свои силы объединить; кулакам это хуже ножа к горлу. Всё делали, чтобы помешать нам. Побороться я всегда не прочь, — лукаво усмехнулся Сеньча, — да жаль, силы мои не те стали. Из моего мешка скоро кости вытряхнутся...

И, помедлив минуту, он сказал:

— Нас, олонхосутов, скоро не станет. Наша слава отживает, мы последние неграмотные певцы. Молодежь любит еще позабавиться, послушать нас, но учиться нашему уменью уже мало кто хочет...

В минутном раздумье Сеньча, сутулый и сгорбившийся, стоял с высоко поднятой головой.

— Мы, седые, еще поем о старине, — заключил он, — а молодые учатся теперь грамоте. Олонхо они складывают делами и песни свои не поют, а пишут... Прощайте, товарищи! — сказал он, надев шапку с черной сеткой от комаров, и покинул комнату.

¹ Сергей Афанасьевич Зверев, известный в Якутии народный певец, был участником декады якутского искусства и литературы в Москве в 1958 году.

В окно было видно, как он сел на коня и, пустив его на иноходь, удалялся по обширному, пустынному после сенокоса аласу к тому месту, где тропа, минуя темные надгробия древнего могильника, уходила в золотую осеннюю тайгу.

Сунтарский район проводил путников по просторным своим луговинам вплоть до самой большой из них — солнечной Кюняйи.

Правда, долина эта, замыкающая Сунтарский оазис, не так уж сенокосна: ее заболоченная середина поросла осокой, укрывающей гнездовья уток.

И тотчас за ней земля вновь засырела, заболотилась, вся затопорщилась тайгой — кончились жилые места. Тропа прижалась к Вилюю, пропала в его волнах, чтобы вновь вынырнуть на его левом берегу. Там, за переправой, начинался новый, лежащий по среднему течению Вилюя Мегежекский район.

В пути по Мегежеку

Районное селение Нюрба, расположенное на высоком в этом месте берегу Вилюя, сияло электрическими огнями, когда мы подъезжали к нему.

На улицах поселка мы застали неожиданное веселье. Повсюду у коновязей верховые кони, а на площади перед зданием Райисполкома вертится не один танцевальный круг. Это собрался вилюйский хоровод — юнкую.

Из Якутска последним рейсом пришел пароход, уборка сена закончилась, люди неплохо поработали и вот теперь съехались из разных мест попеть и поплясать в хороводном танце.

Разносятся слова запевалы: «Вот мы, приезжие люди, случайно собрались — почему же нам не повеселиться...»

В каждом круге люди взялись под руки, да еще соединились в крепком рукопожатии. Начиная танец, круг движется медленно, раскачиваясь то в одну, то в другую сторону. Люди как бы переминаются с ноги на ногу.

Но вот пляшущие почувствовали себя единым целым, ритм пляски участился, и запевала, едва поспевая за быстрым движением, почти выкрикивает слова песни. Все в круге одновременно подскакивают кверху, кажутся скачущими на конях. В каждом туре танца свой запевала-импровизатор. Это как бы непрерывное соревнование — кто больше сложит куплетов и у кого они получатся поэтичнее. Слова певца подхватывают и повторяют припевом в несколько голосов. Запевают и девушки. Вот одна из них повела песню, в которой примерно говорилось так: — Продолжим, друзья, наше веселье. Проходят последние теплые деньки. Нас сейчас много, но скоро-скоро придет зима, будем мы одиноко сидеть по юртам и видеть только своих родных...

Импровизации полны лирических описаний природы, портретных характеристик самих танцующих.

То и дело кто-нибудь из зрителей присоединяется к хороводу, прямо на ходу включаясь в танец. И молодые и даже старушки. Принято, чтобы в середине хороводного круга находились дети. Они тут как тут, едва только новый хоровод начинает составляться.

Кажется, не остановить таежный хоровод, когда он закружился, — однообразны его движения и напев, но он захватил пляшущих своею азартностью, непрерывным соревнованием певцов, красотой импровизации и, главное, многолюдностью, столь редкостью в тайге.

Нюрба и весь Мегежекский район — центр хлебопашества на Вилюе. Вокруг поселка Нюрбы расположены три русские деревеньки, единственные на всей Вилюй-шине. Их обитатели — потомки ссыльных поселенцев, а также переселенцев с верховьев Лены — привили таежному населению первые навыки хлебопашества.

И под Нюрбой, на месте большого озера, когда-то выпущенного в Вилюй, и по притоку Вилюя, Мархе, раскинулись пахотные земли. Здесь уже были организованы наиболее крупные колхозы и работала первая на Вилюе МТС.

Но на Мегежеке, пожалуй, еще ближе, чем на Сун-таре, к местам освоенным и обитаемым подступают пустоши с топями, чащобами и озерами и места, просто еще не тронутые, не освоенные человеком.

Странно было встретить в русских деревеньках, расположенных под Нюрбой, седобородых стариков и круглолицых русских красавиц, которые при попытке заговорить с ними отвечали по-якутски: «По-русски говорить не умею».

За долгие годы обитания среди якутов русские забывали родную речь: так велика была ассимилирующая сила окружающей среды в этом удаленном уголке, оторванном бездорожьем от всего мира.

Весной 1922 года маленькая Нюрба выдержала пятидневную осаду многочисленных белых банд и отстояла красное знамя Советов. В наши дни ей посчастливилось стать главным штабом поисковых геологических партий, открывавших якутские алмазы.

Именно отсюда вышли партии разведчиков на поиски по всем направлениям вилюйской тайги. В результате их работы запестрели в разных уголках тайги красные флажки, отмечавшие найденные месторождения алмазов — так называемые кимберлитовые трубки.

Весь сентябрь, пока мы держали путь по Вилюю и останавливались в Нюрбе, золотым пламенем лиственниц пылала тайга. Но вот под первое октября ударил крепкий заморозок. Подул редкий в Якутии ветер, так и называемый «отряхивающий хвою». И сразу от недавнего золотого наряда тайги осталась пустая сетка ветвей, как дым от сгоревшего фейерверка.

Кончились дни ласковой осени с температурой выше нуля. С первым заморозком по земле словно громыхнуло жестью — начиналась северная зима.

Солнце больше не пригревало. По небу ветер гнал крупные облака. То начинал идти

легкий сухой снег, то сыпалась мелкая крупа, застревая в побуревших травах и кустарниках. Будто это к зиме светлел заяц беляк. И солнце, проглядывающее в облаках, шурилось, словно и оно оделось в белую заячью шкурку, и свет его — сияние серебристого ворса.

Но прошло два-три дня, все утихло, и по-прежнему засияло солнце. Медленно застывая, северная земля совершала теперь переход к своей студеной поре — до первого снегопада, сразу обильного, сразу устанавливающего зиму.

Из Нюрбы, сделав большой крюк, мы выехали на крайний северо-запад района, к поселку Мегежек, лежащему за стокилометровой полосой безлюдной тайги.

Мы проделали трудный путь, приехали, и — диво дивное! — никакого поселка не оказалось, хотя он был обозначен на всех картах. Самого поселка еще не было, но были кооператив и школа, правда расположенные в нескольких километрах друг от друга.

В школе начались занятия. На Вилюе и во всей Якутии это был первый год осуществлявшегося в тайге всеобуча. Нужно сказать, что лишь с проведением всеобуча девочки впервые переступили в якутской тайге порог школы.

Только что оборудованная в эту осень школа всеобуча разместились пока в заарендованном частном доме — в нем лишь пошире прорезаны окна, сложены печи да пристроены теплые сенцы.

В классах очень своеобразные самодельные парты: к столу-скамейке на шести высоких и тонких ножках приставлена низенькая скамейка для сидения.

...Морозный вечер. Топятся печи. Старик, отец учителя, ходит по классу, любясь и будто еще не веря, что все это есть

— Раньше у нас во всей Якутии, — говорит он, — обучались только дети богачей — тойонов. А после революции, по темноте своей, мы думали сперва, что будут обучать одних солдатских детей. Позже мы поняли, что советская власть обучает детей всего населения. Но школы от нас были еще далеко. И вот теперь школа пришла к нам.

Наутро ребята по звонку уселись за свои тонконогие, как кузнечики, парты. В старшей группе ребята от десяти до шестнадцати лет.

В младшей группе в первом ряду уселись две девчурки-одногодки, чинно положив руки на тетради в обложках песочного цвета. Смуглые их лица с ярким румянцем на щеках оттенены черным цветом волос.

Многие мальчики, видимо, впервые пострижены; эта стрижка похожа на жнивье, какое оставляет очень неумелый косой.

Первый призыв всеобуча в самом крайнем наслеге Мегежека, в Хотынской школе, раскрывал первые страницы букварей.

В эти же дни начала занятий в таежных школах мы остановились как-то на дневной привал в придорожном жилье.

Маленький, заботливо убранный дворик казался продолжением жилья, открытой его частью. Он был расположен на бугре, с одной стороны которого виднелась впадина бурой осенней луговины со стожками сена и слюдянистыми оконцами озерков. С противоположной стороны лесная чаща щетинилась у самой изгороди. Под ярким солнцем прямые стволы лиственниц горели золотом, как если бы это были стрелы ливнем падающего на землю солнечного света. Кто-то громко и явственно, как дятлы, перестукивался в этой золотой чаше.

— Что там у вас делается? — спрашиваем хозяина.

— Школу ставим, — говорит он не без гордости. — Сперва открыли ее в запустевшем кулацком доме, а нынче настоящую новую строим.

Входим в жилье. Уютная, чистая юрта. Дома одна хозяйка. Появление чужих людей ничем ее не смутило. Легко вступив в разговор, она говорит, что ей уже сорок лет, и шутливо называет себя эмэхсин — то есть старушкой. Рассказывает о сыне, который в эту минуту вошел в юрту.

— Вот во второй группе учится. Прошлую зиму четыре месяца ходил на ликпункт ¹, а нынче открылась у нас школа, он и попал сразу во вторую группу.

— А сама не ходила туда? — спрашиваем хозяйку.

— Что ж, и ходила! — отвечает молодо. — Еще как бегала по морозцу. После сама себе девчонкой снилась.

Немолодая эта женщина, легкая и стройная, с молодежьим лицом, одетая в темно-коричневое платье и черную с фисташковыми ромбами безрукавку, кажется лишь нарядившейся под эмэхсин девушкой.

¹ Пункт ликвидации неграмотности.

— Это мой средний, — говорит она, ласково охватив руками черную голову мальчика.

— А еще две девочки есть: старшая и самая младшая. Тоже сейчас в школе...

На среднем опорном столбе юрты привлекает к себе внимание приметная надпись.

Кто-то писал здесь, старательно нажимая на карандаш. Словно тиснением выведены на золотистой древесине четыре якутские слова. Они означают:

«Ульяна Николаевна. Я писала».

Чья-то первая грамота горделиво запечатлелась на традиционном срединном столбе юрты, воспетом еще в старинных якутских олонхо.

Не прошло и минуты, как маленькая дверца юрты распахнулась и в нее вбежали две быстрые, как птицы, девочки: одна — высокая, лет тринадцати, с продолговатым нежно-восковым лицом, и вторая — необыкновенно живая, как куколка красивая, малышка.

Старшая была та самая Ульяна, чья надпись украшала старинный столб; меньшая — ее сестра и одноклассница, восьмилетняя Мотя. Так еще собирали в класс ребят разного возраста впервые открывшиеся школы.

Над вилюйской тайгой всходила заря поголовной грамотности маленьких граждан республики, и грамотность девочек была самым ярким лучом этой зари.

Уже на восточной окраине Мегежека вместе с колхозником Михаилом Андреевичем Николаевым мы держали путь к его дому в местности «Бютейтах» («С изгородами»). К тропе все чаще и чаще, вытесняя луговины, подступали озера, одно другого крупнее.

Прозрачный лед их отражал ясное голубое небо.

Распахнулось одно особенно просторное озеро, на много километров раздвинувшее тайгу. Это было многоводное Женкюдя. Оно не замерзло еще на глубоких местах, и там, в ледяной раме, свободно ходила вода, синяя, как само небо.

Тропа огибала Женкюдя.

На островках его, неподалеку от берега, стояли островерхие копенки сена, старательно собранные кем-то и на этих кусочках земли, едва проглянувших из-под воды.

Незадолго перед Женкюдя мы увидели, как человек с косой, граблями, узелком шел куда-то по заиндевевшей земле, словно в летнюю покосную пору.

И вот перед нами совсем необычное зрелище: человек, скользя по прозрачному молодому льду, выкашивает в этот октябрьский день травы, недавно наполовину стоявшие в воде.

Прямо на зеркальной поверхности льда ложатся рядки скошенной осоковой травы.

По всему было видно, что здесь дорожили каждым клочком сена для зимних запасов. Мы ехали цугом в четыре коня. Впереди, на головном коне был Михаил Андреевич, и, разговаривая, он то и дело оборачивался в седле» Художавое его лицо с прищуренными от яркого солнца глазами, с негустой клочковатой бородкой и такими же усиками, редкими на якутских лицах, как бы проплывало на фоне зеркального голубого сплава Женкюдя. Напрягая свой негромкий голос, он рассказывал о том, как еще в старое время один старик задумал выпустить озеро в Вилюй, да только власти отказали ему, и как теперь колхозной силой они собираются сделать это — добыть из-под воды луговые и пахотные земли.

Едва успели мы пересечь неширокую полоску тайги, что увела нас в сторону от озера, как изгороди оповестили о близости жилья.

После ослепительно ярких луговин и просек и сверкающего Женкюдя хотелось укрыться в тени так же, как в летний жаркий полдень.

Вскоре в уединенном жилье Николаева стали собираться люди. Один за другим они входили и размещались по скамьям.

Это были колхозники «Красного кнута».

Хорошо поработав в эту колхозную осень, таежники собрались, чтобы рассказать о своих делах, поделиться радостью. И мы услышали от них не совсем обыкновенную повесть.

В честь гостей камелек заиграл веселым огнем. Через тонкие осенние льдины в маленьких окошках пробивался красноватый солнечный свет. Люди сидели за чисто выскобленным столом, озаряемые и полыханием камелька, и отсветами уже негреющего солнца.

Все слилось в какую-то гармонически цельную картину.

Начал беседу крепкий мужчина с жесткой щетинкой на голове, с зоркими темными глазами. Это был Николай Кыльджит, первый машинист таежного колхоза.

Говорил он негромким, настойчивым баском.

За год перед этим пошел Николай Кыльджит промыслять белку в дальнюю тайгу, за несколько сот верст от Бютейтаха. На пути его лежали самые хлебопахотные в Якутии олекминские наслеги. У тамошних якутов увидел он сельскохозяйственные машины. Своими глазами увидел он то, о чем еще только слух шел по Вилюю.

Внимательно присмотрелся он, как работают машины олекминских колхозников. На несколько дней даже задержался в тех местах. Повидался со многими людьми, расспросил их о новой жизни и зажег их волнением.

К весне вернулся домой с добычей — легким ворохом пушнины. Но думы об увиденном в Олекме не оставили его.

Повстречался он с коммунистами-земляками, — вот с Михаилом Андреевичем, да еще с одним паренком, скорым Данилгой, — и решили они познакомиться с уставом

сельскохозяйственной артели и объединиться для общего труда.

Когда же для бютейтахского колхоза пришли первые машины, Николай Кильджит принялся за их сборку. Видимо, не зря приглядывался он к машинам олекминских колхозников; видимо, глаз его был меток не на одних только белок. Кое в чем ошибся сначала, но скоро с помощью инструктора устранил все неполадки.

И, с тех пор как машины бютейтахского колхоза вышли на работу, Николая стали называть не «Кильджи-том», то есть «Добытчиком», как зовут в тайге удачливых охотников, а «Машиной».

Еще продолжался рассказ Кильджита, когда в юрте появился новый гость: невысокий худощавый человек лет двадцати восьми.

Прямые и плоско лежащие колючие волосы нависали над его лицом с тонкими нервными губами и острым и быстрым взглядом. По-дружески приветливо встретили его все, кто находился в юрте.

Он уселся за стол.

— Вот он, Данилга,— назвал его Михаил Андреевич. И тогда Данилга, попытавшись убрать свои упрямо

топорщившиеся волосы, стал продолжать рассказ о радостях и тревогах зарождавшегося в тайге колхоза.

Когда первые двенадцать бютейтахских семейств соединились в колхоз, а все вокруг жили еще порознь, случилось, что при выборах прошел в председатели сельского совета родственник крупного богача Долобура. И, как только изменился совет, будто негде стало жить и колхозу. Председатель все дела справляет, а «Улеси-та», то есть «Работника» (так называли бютейтахцы сперва свой колхоз) замечать не хочет, будто и нет его. Почувствовали колхозники недоброе.

И все вокруг стало меняться. Условлено было, что к весне вступят в колхоз новые хозяева, а тут они примолкли. Сначала двое родственников нового председателя заявили об уходе: побоялись несогласия с председателем. Потом другой колхозник стал вдруг просить вернуть тойону Долобуру бывшую его пахотную расчистку. А то бывшая батрачка тойона тоже захотела уйти. «В колхозе, — говорит, — буду, а на долобуровой земле боюсь». Стали находить колхозники у своих изгородей подметные доски с написанными на них угрозами.

Впору было распустить колхоз и, как прежде, одиноко засесть по юртам

— Что же нам было делать? — спрашивал Данилга, будто вот сейчас был застигнут бедой.

И продолжал свой рассказ.

Убедившись, что от усадьбы Долобура проторена свежая тропка ко двору председателя совета и что оттуда идут все беды колхоза, бютейтахцы решились на крайнюю меру — написали они в район: «Разберитесь и помогите. Сам председатель совета разваливает колхоз».

Последней дорогой отвез Данилга письмо бютейтахских колхозников в район.

Таежные луговины и озерные впадины, до краев наполненные снегом, подгоняли его: вся эта отлежавшаяся, прокаленная стужею масса снега вот-вот могла двинуться весеннею водою.

Не все районные работники были на высоте. «Люди, упускающие весну», как назвал их Данилга, сомневались в правоте колхозников. Но все же послание бютейтахцев произвело впечатление. В районе обещали беспокойному парню снарядить следствие. Данилга возвращался домой, пробираясь через речки, уже наливавшиеся талой водой поверх льда. Дорогу, недавно крепкую, распустило, и конь Данилги часто проваливался по брюхо.

Данилга торопился к своим товарищам, чтобы вместе с ними провести разводье — самую неблагоприятную пору, когда все люди сидят, как на островах, отрезанные друг от друга. Он знал, что посланные из района уже не успеют проехать следом за ним.

В тревоге и ожидании провели бютейтахцы это время, пока гремел на Вилые ледолом, а в высоком небе тянулись косяки перелетных гусей.

Едва закурились листовницы первую нежною зеленью, прибыла комиссия из района. Нелегко было Данилге и его товарищам отстаивать свою правоту приезжие прежде всего могли заподозрить их в подрыве авторитета законной власти.

Но все развернулось со стремительностью короткой северной весны. Разбирая жалобу колхозников, следствие обнаружило многие другие злоупотребления председателя совета, а в одну из ночей застigli в укромной юрте тайное сборище: были тут и председатель и сам тойон Долобур.

Наконец-то воочию увидели люди, кто был главным виновником бютейтахских бед!

Председатель был снят, и, как только отпала кулацкая осада, сразу в колхоз вступили новые хозяйства.

— С той самой поры никто уж не враждует с нами,— заключил рассказ Данилга. — Но послушайте, — вновь продолжал он: — враги довели нас до такой последней худобы,

что даже конь с таким сухим телом пропадает. Тогда мы назывались всего только «Работником», а отбившись от врагов, назвались мы «Красным кнутом», чтобы было кому надо памятно.

Закончив рассказ, он улыбнулся и насухо обтер губы тыльной стороной ладони. И снова завязывалась беседа.

Люди рассказывали об учителе-комсомольце, который приехал в каникулы помочь колхозу: как он обошел покосы и полевые участки, как переговорил с колхозниками и как после этого появились у них план и учет и обыкновенные дни выхода на работу, что отмечались раньше простой зарубкой на посошке, стали трудоднями с точной цифрой.

Рассказывали о тех, кто взялся за общий труд с охотой и сноровкой, — о людях с «ючугей сюрях», то есть

— Рос я сиротой. Меня взяли на воспитание в зажиточное хозяйство. Все молодые годы — с десяти до двадцати семи лет — я работал на хозяев, которые заставляли себя отцом и матерью называть. А когда захотел отделиться, они не дали мне ничего и сделали неимущим. Обманывали они, хозяева.

Едва он закончил рассказ, как из плохо освещенного угла юрты донесся едва слышный, шелестящий голос. Трудно было разглядеть говорившего, не удалось узнать и его имя. Осталось представление о нем, как о человеке крайне робком. Таких людей можно было встретить в якутской глуши из числа бывших батраков — неизгладимый отпечаток нередко оставляла на них былая голодная и забитая жизнь.

— Нянькой семерых ребят у одного богача работаю три года. У другого еще три года нянчу, у третьего еще один год, — слышался голос тихий и до крайности взволнованный. — Я работал, а они всё ругаются и бьют. Ложкой ударят — ложка сломается. Пестом стукнут —



о людях «с хорошим сердцем», как называют в тайге ударников.

— Вот он, — заметил Михаил Андреевич, кивнув в сторону одного скромного человека, который в эту минуту молчаливо и мечтательно потягивал свою зеленую трубку из раскрашенной глины, словно покусывал зеленый стебелек. — От зари до зари безотлучно проработал на покосе и жатве. Первый из всех!

Это был Константин Спиридонов. Вызванный на разговор, он смущенно сказал: и тот чуть не перешибется Заставляют богу молиться и просить пищу: то дай, это дай. Я помолюсь и жду на другой день лепешки побольше. Только все равно ничего от этого не прибавляется. Так вот и вырос я в работниках... Человек помолчал, перевел дыхание и продолжал: — Еще десять лет работаю у богачей. Все им делаю: хлева чишу, жернова верчу, дрова заготавливаю, лед на зиму запасая, траву кошу, сено сгребаю. И все одну пресную лепешку кушаю да попреки слушаю. Совсем уже пропадать стал, да только тут надежда появилась: советская власть пришла. В земперedel получил я покосный участок и ушел с тойонского двора. И, оказывается, себя оправдываю, да еще прибыль даю. — Успокоившись, человек заключил: — Уже середняком пришел я в колхоз. И первый раз в жизни почет и привет вижу. Рассказчик умолк, и Михаил Андреевич объявил о позднем часе. Люди поднялись со своих мест и, надевая на головы ушанки из заячьих лап и делаясь от этого все на одно лицо, потянулись к выходу. Среди них затерялся и рассказчик, так и оставшийся безмянным.

Была полночь, когда мы вышли проводить уходивших и уезжавших. Тропинка вела между изгородей, между стогов; смутно вырисовывались острые верхушки елок. Под ногами поскрипывал первый снежок. В небе крупные косматые звезды были подобны гигантским тысячесвечным люстрам.

Несколько ближайших юрт светились догорающими камельками. Две-три юрты, два-три пучка искр, приплясывающих над трубой, да тайга, будто еще гуще разросшаяся в темноте. Где-то позади исчез огонек знакомой нам юрточки. Но не покидало чувство,

что мы находимся в хорошо обжитом месте. Так сразу сблизил нас этот маленький уголок земли со многими своими людьми. И сюда, невесть в какую даль, пришла новая жизнь, и отступило все, что разделяло и отчуждало людей друг от друга.

Мы последними укладывались спать в затихшей юрте.

¹ В Якутии заготавливают на зиму питьевую воду в виде ледовых брусьев, так как все водоемы очень глубоко промерзают и вода в них портится.

Долго еще лежали, приглядываясь к старинному облику жилья; гихо переговаривались, следя за догоравшим камельком, игравшим летучей, мгновенной искрой.

При въезде в город

На Вилюе многоголосо шумели льды, когда мы снова выехали к нему, выбравшись из глубины наслегов Мегежека. Одно за другим шли ледяные поля, обламывая и оттесняя настывший у берегов лед. Металлически-стеклянный звон стоял над рекой. Точно над ней перекликались бесчисленные птичьи стаи.

Мы переправлялись на правобережье — туда вновь ушла населенная полоса — в самые последние минуты перед началом ледостава.

Начинался собственно Вилюйский район — самый обширный на Вилюе и в то же время наименее населенный. До города Вилюйска оставались последние сто двадцать километров пути.

Въезд с этой стороны к городу открывают верхневилюйские наслеги, наиболее хлебопахотные во всем этом районе.

На дневном привале в попутной юрте нам повстречался молодой мужчина с черными смолистыми волосами. Его умное лицо с высоким открытым лбом было оттенено широким ярко-зеленым шарфом. Это был председатель колхоза «Сулус» («Звезда»). Он рассказывал о земельном массиве колхоза, о закупленных сельскохозяйственных машинах, о том, как совместный труд вызвал тягу у таежных людей к совместному поселению, о том, что в местности «Хамыстах» («Камышовое») зарождается поселок — там уже построены колхозные скотные дворы и молочнотоварная ферма, несколько колхозников уже перенесли туда свои усадьбы, туда же будет перевезена и школа. Его толковая речь с какой-то осязаемой ясностью передавала, как колхозы привели в движение всю окружающую жизнь.

Несколько позже в ту же юрту заехали отдохнуть два юных учителя, которые направлялись на совещание по распределению доходов в соседний колхоз «Кысыл Улесит» («Красный работник»). С чувством увлекающей новизны переживали юноши свою поездку.

А затем, когда мы были уже в пути, повстречались нам председатель и счетовод колхоза «Кысыл Улесит», которые ехали на то же совещание, что и юные учителя. В этот погожий день люди торопились по делам, справляясь о времени по солнцу в огромном просторном небе.

Как полагается при таежных встречах, поздоровались, остановились поговорить. Счетовод «Красного работника», человек лет под тридцать, был подтянут, в ладно сшитом полукафтани. В своей сплошь черной одежде, которая под ярким солнцем выглядела дорогим бархатным одеянием, на хорошем сером в яблоках коне он был похож на доброго молодца каких-то старинных времен.

Позже, уже в Вилюйск, он прислал на память о знакомстве и встрече свою фотографию и письмо. С карточки смотрело его же, но совсем еще юное лицо с внимательным, пытливым взглядом, а в письме он вспоминал о самом волнующем переживании своей юности. И это было как бы началом многих и многих рассказов, которые нам довелось вскоре услышать в самом Вилюйске.

...Только что вступив тогда в красную боевую дружину Вилюйска, писал о себе счетовод «Красного работника», он был послан из города, уже оцепляемого белыми бандами, в наслеги закупить у населения фураж.

Помимо возможной встречи с бандами, поездка эта была опасна еще и тем, что его мог выдать кто-нибудь из населения.

По-видимому, не до конца еще доверяя неиспытанному бойцу, а может быть, нарочно делая так, чтобы он не был похож на военного, ему выдали в дорогу вместо боевой винтовки захудалый револьверишко системы «бульдог». Из самолюбия юноша вовсе отказался от оружия, захватив с собой обыкновенный якутский нож.

Темной ночью предъявил он патрулям пропуск на выезд из города. Но случилось, что в тот час в дозоре находился его друг, и у них завязалась беседа. Расставаясь, патрульный сказал своему другу: «Прощай, Алексей. Кто знает, может, и не увидимся».

Эти слова растревожили юного бойца, напомнили ему о молодой жене, с которой он недавно распрощался. Не найдясь что ответить, с беспокойным сердцем он выехал в

тайгу.

Он благополучно добрался до мест, богатых сенокосными угодьями, — верстах в пятидесяти от города, — договорился с тамошними хозяевами не позднее обеда следующего дня доставить двадцать пять возов сена в город. На своем пути он не встретил никаких препятствий.

Уже в последние часы, отправив возы, он остановился перед вечером в одной юрте почаявать на дорогу, покормить коня и еще раз попытался убедить людей не оказывать белым помощи. С аппетитом чаевничал, довольный выполненным поручением и хорошим настроением людей.

Когда он на минуту выглянул на двор, чтобы добавить корма коню, вдруг незнакомый человек, перепрыгнув через изгородь, вбежал во двор. Запыхавшись, он сообщил: — Эй, товарищ, торопись! Белые приехали. Про тебя спрашивают, велют найти и к ним доставить.

Войдя в дом, юноша второпях схватил одежду и, ничего толком не объяснив хозяину, лишь крикнув ему: «Никому не говори про меня...», убежал. Вскочил на коня и был таков.

Обратный пятидесятиверстный путь до Вилуйска показался ему бесконечным. Догнав возы с сеном, он поторапливал возчиков, не выдавая своего волнения, чтобы не заронить в них тревогу.

К рассвету достиг он города.

Там уже были получены сведения о продвижении банд в ту сторону, где находился юный разведчик, и его товарищи с тревогой думали о нем.

Но вскоре и сам он явился, а к полудню подъехали к сторожевым постам и завербованные им возчики с сеном.

Об этом первом своем испытании писал нам счетовод «Красного работника».

Мы приближались к Вилуйску, а это значило, что после неширокой сухой полосы мы снова вступали в тайгу с многочисленными топиями и озерами. И вот, отмечая эту границу, первым открылось просторное озеро Оросу, а за ним легло на пути прекрасное Муогомэ — с мысами, с полуостровами, с тонкими косами, с заводами. Укрытое высокими берегами, оно сверкало зеркальной гладью чистого льда; в разных его краях, подобно хрусталу, лежали грудки первого вырубленного льда: началась заготовка ледовых брусьев для зимних запасов питьевой воды.

По косам и береговым кромкам бродили, начиная свою зимнюю пастьбу, конские табунки; на укромных луговинах домами великанов стояли стога, и совсем маленькими в сравнении с ними виднелись разбросанные там и сям юрты, курившиеся неугасимо, на всю зиму, затопленными камельками.

Скрылось Муогомэ, и, точно для того, чтобы оно ни с чем не смешалось в памяти, единым массивом льда раскрылось следующее озеро — парадное и холодноватое на вид «Арылах» («С островом»).

Здесь находился центр наслег Оросу.

Местные юрты имели пристройки, украшенные деревянными колоннами и резьбой; их окна были шире, чем обычно.

Как мы вскоре узнали, эти особенности оросутских юрт объяснялись тем, что здесь жил замечательный старый столяр и резчик по дереву.

В юрте наследного совета шло многолюдное собрание. Оно было необычно: секретарь и докладчик находились за столом президиума, а председатель сидел посреди юрты верхом на стуле, повернутом спинкой вперед, и окруженный участниками собрания. Движением рук он управлял бурным собранием, подобно тому как управляют хором. Наследный актив обсуждал контрольные цифры заготовок.

В ожидании сменных коней мы познакомились со старым мастером.

Семидесятипятилетний старик, рано одряхлевший, показывал свой дом и необычайный инвентарь своего хозяйства. В сравнении даже с юртами самых крупных таежных богачей его дом отличался массивностью и добротностью. Он как бы представлял собой самый высокий, какой был только возможен здесь, образец строительства. Все вещи в нем — дубовый стол, двухспальная резная кровать, посудный шкаф, угольник с резною божницею, скамьи с закругленными, как у кушеток, деревянными валиками, казалось, были вытесаны из цельного куска дерева. Старик показывал мельничный и молотильный привод своей работы, ходивший легко и плавно, как механизм сепаратора, самодельную веялку. Для своего времени (они были сделаны еще до революции) это были уникальные предметы на всю огромную вилуйскую округу. И сделаны они были по особому техническому способу: в них не было металлических частей, а деревянные части были скреплены деревянными гвоздями или просто искусно связаны ремешками, волосяными веревками, полосками лыка и даже древесными корнями. Глядя на эту технику, становилось понятным, сколько было вложено в нее терпеливого старания: постичь и сделать сложные механизмы, когда вся окружающая жизнь находилась на самом примитивном, отсталом

уровне.



Старик показывал еще плетенные из тальников корзины для зерна, напоминавшие своей формой античные глиняные кувшины, необыкновенной прочности рыболовные сети из конского волоса.

Лучшее, что мог сделать мастер в старое время, был резной иконостас вилюйской городской церкви. Пожалуй, отсюда, от церковной архитектуры, были заимствованы пристройки оросутских юрт, так неожиданно напоминающие собой портики древнегреческой архитектуры.

Накануне в селении Намцы, прижавшемся почти к самому берегу Вилюя, мы слушали рассказ молодого учителя местной школы. Это был много испытавший в прошлом батрацкий сирота. Став в советские годы учителем, он все свое свободное время отдавал изобретательству.

Он сконструировал водяной велосипед, на котором летом торжественно проплыл около ста километров по Вилюю от Намцев до Вилюйска, а затем спроектировал и уже приступил к изготовлению вездехода.

Конечно, все это было в какой-то степени копией существующих конструкций, но в таежных условиях, когда весь механизм, все его части — систему передачи, оси, шестеренки, — приходилось изготавливать из дерева, это было уже изобретательством. Вездеход таежного изобретателя должен был двигаться с помощью ветряной турбины, а при отсутствии ветра — с помощью работы ног. Кузов его был сделан в виде гондолы, поставленной на широкое закрытое колесо, которое на воде должно было работать как турбина; для движения по снегу под переднюю часть гондолы должна была надеваться лыжа, а по земле — небольшое колесо.

Все эти механизмы, изготовленные из дерева, приносили немало мучений и огорчений своему изобретателю, прежде чем сладиться и задвигаться, но это не останавливало молодого энтузиаста. Почти весь свой небольшой заработок он тратил на закупку материала и на оплату работы столяра.

Изобретательская мысль намского учителя была пробуждена начинавшимся техническим перевооружением окружающей жизни. С колхозами пришли сюда первые машины. Правда, пока что это была техника, появившаяся извне, в готовом виде.

Неподалеку от Намского наслега, где жил учитель, расположено маленькое селение Верхне-Вилюйск, где издавна добывалось железо и было развито кузнечное ремесло. Но верхневилюйские кузнецы изготовляли лишь сошники, зубья для борон, мотыги, топоры, ножи и котлы. И только-только начинали осваивать выделку простейших запасных частей для жнеек и косилок.

Сменные кони пришли уже в сумерках. Предстоял сорокаверстный переход по трудной тропе с затвердевшей, схваченной холодом грязью. И на этом отрезке пути Вилюйск выставил на подступах к себе еще один, подобный Нюйской тропе, труднопроходимый заслон.

Уже сначала тропа часто скашивалась, пробираясь вдоль не то речных, не то озерных и болотных впадин. И кони высекали копытами зарубки, чтобы не упасть и не скатиться на перекосах.

Временами переплетения корневищ на тропе были подобны расставленным в темноте капканам. И кони замирали на месте, не зная, куда же ступить дальше, и вдруг бросались в сторону, в обход по таежной целине. И тогда ветки больно хлестали и их

и седоков.

Впереди бежал пеший проводник — семидесятитрехлетний старик Даниил.

Он как-то особенно тревожно «угукал», когда оступался сам или слышал, как под кем-нибудь скользил конь.

Когда же старик решил избрать наикратчайший путь, мы очутились в подлинно таежной труппе. Бугристую и завязанную корневищами тропу теперь преграждали упавшие столетние стволы. Перешагивая, кони терлись о них брюхом. Местами повалившиеся деревья нависали над тропой, зацепившись при падении за соседние стволы. Поваленный, поломанный, исковерканный и погруженный в темноту лес был подобен морскому дну со следами бесчисленных кораблекрушений.

Кони рвались вперед, ныряя в любую прогалину, не заботясь о головах седоков, которым поминутно угрожали внезапно вырастающие в темноте лесины, подобные слагбаумам. Огромными чудищами, словно мохнатые пауки-исполины, топорщились повсюду вывернутые при падении лесин корневища.

Ямщик, один из тех неутомимых якутских стариков, которые способны пробежать любую дорогой столько же верст, сколько им лет, — продолжал кидаться из стороны в сторону, нащупывая слабо проторенный путь. Натренированные и терпеливые кони шли с покорным мужеством. Настороже были и седоки. Они готовы были ежеминутно подхватить поводья, когда конь, оступаясь, мог рухнуть наземь.

И так всю ночь, пока не было найдено заветное жилье, лежавшее за сорокаверстными непролазными чащами.

Один на один расправившись с целым самоваром (нас укачала каменная зыбь тропы, и мы улеглись без чая) и покормив коней, старик той же ночью отправился в обратный путь.

Последний перед городом ночлег. Новый, хорошо построенный дом, но все еще с традиционным камельком.

Сумерки сгущались. И чем стремительнее разгорался камелек, тем сильнее охватывало чувство ожидания, с которым было связано пребывание на этой остановке. «Завтра Вилюйск» — эти слова повторялись и повторялись в мыслях. Заканчивался тысячекилометровый путь по таежным тропам, и невольно подытоживались впечатления. И все скудное и унылое, что порой еще давало себя знать в этих краях, напоминая о недавней закоснелой отсталости, которая держалась здесь веками. Вдруг всплывало перед глазами и бередило сердце. Старое, захоластное, и новое, молодое, идущее вперед, переплеталось здесь на каждом шагу.

Двойственное чувство вызывал к себе и сам Вилюйск. Мы приближались к городу, и после долгого пути это не могло не радовать нас. Но это был городской островок среди еще более глухих мест, чем те, что мы уже повидали. И надо было собраться с силами для такой встречи. К тому же истекли последние считанные минуты осени и надвигалась неведомо что сулившая путникам якутская зима.

«Но завтра Вилюйск — город Чернышевского», — эти слова бодрили нас.

«Что-то поведает нам таежный городок о своем бывшем узнике?» — не уставая спрашивали мы друг друга, загадывая теперь уже о близком будущем.

Слышалось, как за стенами дома кони с хрустом жевали сено и с морозным поскрипыванием переступали с ноги на ногу.

— Мы отъезжаем завтра по темной заре, — сказал ямщик за ужином.

Это значило, что мы должны были отправиться задолго до рассвета.

Наутро мы собирались в путь, поеживаясь от утреннего холодка в жилье, под приятное потрескивание разгорающихся в камельке поленьев, с тем особым чувством свежести и ясности восприятия всего окружающего, какое обыкновенно бывает при раннем пробуждении.

И время, насыщенное ожиданием, будто таяло тут же на глазах, как горевшая на столе свеча. Приближавшийся восход солнца предвещал достижение заветной цели.

Настроение было приподнятое, торжественное.

Под самым городом из-за песчаных прибрежных бугров проглянула глубокая впадина Вилюя.

С заречной стороны, с севера, заходила сине-стальная туча с густыми, точно дождевыми полосами. Уже затягивало белесой пеленой начинавшегося снегопада дальнюю стену леса.

К первым городским строениям мы подъехали вместе с разыгравшимся первым снегопадом.

Въезд в город открывало большое новое здание: педагогический техникум имени Чернышевского.

Боковые улочки с длинными высокими заборами и глухими стенами амбаров; старинные купеческие дома с тяжелыми ставнями и между ними — новые строения с широкими окнами. От лабазной купеческой архитектуры городок сразу шагнул к архитектуре советских коттеджей.

Главные улицы — Советская, Коминтерновская, Чернышевского — бывшие

Расторгуевская, Кушнаревская, Кондаковская. Красные вымпелы над домами советских учреждений; веселая канитель из разноцветных флажков в окнах детского сада; смесь верховых коней и первых санных упряжек у коновязей кооператива и Пуш-торга; белые занавески в больших окнах столовой; торопливое снование еще по-осеннему одетых людей; первые плотно запахнутые шубы. И над всем этим — высокие мачты радиостанции, точно такелаж неведомо как заплывшего сюда стройного парусника.

За два-три часа, которые ушли на расквартировку, неузнаваемо преобразился окружающий мир: в один снегопад плотно улеглась северная зима.

Мы вышли к реке, к тому месту, где когда-то стоял Вилюйский острог, обрушившийся вместе с подмытым и обвалившимся участком берега.

Прямо за рекой, на севере, широко распахнулась таежная даль, застилаемая неутихшим еще снегопадом и надвигающейся темнотой. Там лежало, как мы вскоре узнали, за ближайшими пригородными наслегами и за полосой пустой тайги вилюйская местность — Мастах, расположенная на обширном озерном плато и отличающаяся особенно суровыми условиями существования для ее населения. В зимние месяцы с ледяных зеркал многих тысяч озер Мастаха налетает на городок стужа.

Влево, на западе, вверх по Вилюю простирались основные вилюйские районы, по которым только что совершался наш путь.

Вправо, на северо-востоке, Вилюй устремлялся к своему низовью, до впадения в Лену.

Позади нас таинственно притих погрузившийся в темноту город, живя своею, еще неведомою нам жизнью. Где-то от него уходил в глубь дремучей тайги семисоткилометровый тракт на Якутск.

Мы стояли, всматриваясь, прислушиваясь, стараясь запомнить эти минуты, и чувствовали только одно: мы на той самой земле, где, может быть, не один раз одиноко стоял со своими думами Чернышевский — вилюйский узник.



В ВИЛЮЙСКЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Вилюйск как бы навсегда сжился с памятью о великом Чернышевском. Здесь вы невольно чувствуете, что ходите по той земле, по которой ступал когда-то одинокий царский пленник, проходя улочками мелкого приострожного городка, тропинками окружающей город тайги. Вокруг все то же. На чем подолгу останавливался взгляд томившегося в неволе Чернышевского, — тот же изгиб синего Вилюя, та же заречная таежная даль, те же заросли лиственниц, сосен, тальника. И вы ловите себя на том, что стараетесь смотреть на окружающую панораму глазами человека, томившегося в неволе.

Порой вам кажется, что вот сейчас может появиться из тайги невысокий человек в очках, с острой бородкой, в поношенной енотовой шубе и медленно направиться через городок к крутому обрыву над Вилюем, как если бы и теперь там стоял давно уже рухнувший острог.

«Остался ли кто-нибудь в Вилюйске, кто помнит Чернышевского-узника?» —

спрашивали мы себя, очутившись в городке. Мы начали поиски. Но, прежде чем нам удалось что-либо разузнать о той далекой поре, мы услышали об одном более позднем событии в Вилюйске, которое также было связано с именем Чернышевского.

Вилюйская баррикада

В тяжелой борьбе завоевали трудящиеся вилюйской тайги право на новую жизнь. И маленький Вилюйск был в центре этой борьбы: с первых дней революции на его улочках, огороженных длинными глухими стенами бывших купеческих лабазов, разыгрывались многие события, которые решали судьбу всей огромной таежной округи.

Но самым трудным и вместе героическим временем для Вилюйска были дни осады его белыми в 1922 году.

Донеслась до уединенного Вилюйска весть о приближении белых. В ожидании их прихода местные богачи организовали террор: были убиты в таежной глуши несколько деревенских ревкомовцев. Сигналы были тревожны, и городок стал под ружье.

Вот уже банды ворвались на Мастах — северную окраину района.

К тому времени в Вилюйск подоспело подкрепление — кавалерийский полуэскадрон — из авангардных частей Красной Армии, шедших вниз по Лене на помощь Якутску. Отряду удалось пройти от Олекминска к Вилюйску в последнюю минуту перед тем, как тропу преградили засады белых.

Впервые в боевой поход выступили на Мастах смешанным отрядом, в который вошли бойцы из местной дружины и из прибывшего полуэскадрона.

Бои прошли неудачно. Обстановка сложилась тяжелая: после оттепели с дождем ударила стужа, начались снежные бураны; люди мокли, обмораживались, изматывало бездорожье по глубокому снегу.

Плохо освоившись с местностью, к мастахскому селению Балагаччи, где укрепились белые, подошли неудачно: пришлось наступать по открытому полю в пургу. Это и затруднило и спасло наступающих: огонь белых был менее прицельным.

Потеряв несколько человек в бою, еще нескольких потеряли на предательской засаде белых. В таежной войне белые с самого начала широко применяли этот прием удара из-за угла, и красные бойцы, не сразу разгадав его, не один раз платили за это дорогой ценой.

К тому времени, когда отряд вернулся из неудачного мастахского похода, белые подступили к городу и с востока — со стороны дороги на Якутск.

Другой красный отряд, целиком из местных добровольцев, в сорок — пятьдесят бойцов, нес оборону этих восточных подступов, маневрируя на свободном еще отрезке дороги.

17 апреля на подкрепление отряду выступила из города молодежно-комсомольская дружина в девятнадцать бойцов: четырнадцать городских комсомольцев и четыре бойца из числа красноармейского полуэскадрона. Девятнадцатым шел проводник — старик якут Сардое.

Среди комсомольцев отряда были выпускники вилюйской школы — первые таежные бедняки, заканчивавшие среднее образование. Это были талантливые юноши, на которых их воспитатели возлагали самые большие надежды.

Стоял погожий день, солнце ярко светило в еще зимней тайге. Юноши совершали путь без больших предосторожностей, распевая боевые комсомольские песни и в особенности полюбившуюся «Варшавянку». Да и никакая опасность как будто не угрожала им, так как впереди на дороге находились свои.

Часам к десяти вечера — недалеко уже оставалось до условленного места встречи двух отрядов — подъехали комсомольцы к озеру Хопочой, верстах в сорока пяти от города. Дорога, огибающая озеро, здесь неровная и изогнутая, как рог. Вправо от нее — открытый скат к озеру и заснеженная озерная гладь, а влево — по бугру, в чашобе — старинное кладбище.

Ехали, ничего не опасаясь, не ведя разведки. Один проводник Сардое двигался впереди.

Отряд комсомольцев вступил уже в укрытую кладбищенским бугром излучину дороги, как вдруг загремели выстрелы. Залп за залпом. Разнеслось по окрестностям, несколько раз повторившись, предсмертное «Эллюм!», и все затихло. Юноши почти поголовно были уничтожены засадой белых тут же, на колее дороги, или застрелены на пустынной снежной равнине озера.

Только старику Сардое — его засада пропустила, чтобы не спугнуть остальных, — удалось бежать в сторону города. Да еще одному юноше красноармейцу, под которым был убит конь, удалось уйти из-под огня засады. Ему посчастливилось вскочить на

другого коня, выбежавшего из расположения белых.

Раненный в грудь, заметая окровавленный свой след рукавицей, изнемогая от жажды и глотая снег, из последних сил добрался старик Сардое до города и первый принес страшную весть.

И в наши дни путника, проезжающего дремучим трактом из Вилюйска в Якутск, подстережет угрюмая тишина остатков могильника над озером Хохочой и заставит остановиться в раздумье. И он увидит на вековых стволах отпечатки, оставленные пулями, и перед ним оживет когда-то разыгравшаяся здесь трагедия. Услышав среди ночи залпы, бойцы городского отряда, на подкрепление которого шли комсомольцы, недоумевали и строили различные предположения. Но все недоумения рассеялись, когда к месту стоянки отряда примчался молодой красноармеец, спасшийся от огня засады, и сообщил горькую правду о ночном бое. Перед рассветом отряд выступил в сторону засады — расплатиться за смерть товарищей.

Разгромив засаду, подобрав истерзанные трупы комсомольцев, отряд начал отходить. Переночевав в пути, на следующее утро он достиг города.

В тот же день все население Вилюйска вышло с пилами и топорами и на полкилометра вырубил тайгу,

'Эллюм! (якутск.) — Умираю!

подступавшую прямо к городским строениям. Все срубленные деревья сложили вокруг городка — огромным валом баррикады.

Пережив трагедию, разыгравшуюся на озере Хохочой, похоронив погибших комсомольцев на главной площади города, Вилюйск замкнулся перед надвигающейся опасностью. Принеся воинскую присягу у братской могилы комсомольцев, защитники Вилюйска заняли свои места на баррикаде.

Вилюйчане с большим увлечением водили нас вокруг города, показывая остатки баррикады и окопов, и посвящали во все подробности обороны. Они рассказывали о северном, восточном и южном фронтах, о командующем вооруженными силами города и прочем и прочем, точно речь шла о целых армиях, в то время как здесь в действительности держали оборону человек полтора-два бойцов. Но это не было хвастовством: такое сильное впечатление оставили небывалые события, пережитые в обстановке оторванности от всего мира.

Подступив к городу, белые предложили сдаться. Они пригрозили попотчевать защитников города «каленным орехом», то есть огнем пулеметов. Но в ответ белые получили приглашение прийти и угоститься свинцовыми «блинами из макленки». На этом переговоры прекратились.

Обе стороны заведомо преувеличивали свое вооружение: ни пулеметов — у одних, ни макленки, то есть легкой полевой пушки, — у других не имелось.

В ночь на 26 апреля с криком «уруй» белые пешей и конной массой двинулись на город. Но вилюйская баррикада встретила их дружным огнем. Не все отряды белых наступали одинаково. А там, где их напор был особенно велик, они натолкнулись на сплоченный огонь трехлинейек полубатальона красноармейцев. Их подпустили на близкое расстояние, а затем умело направленным огнем прижали к земле.

Всю долгую ночь гремела горячая перестрелка, и до рассвета никто не знал, какой урон понесли на том или другом участке баррикады.

Но утром велико было удивление, когда каждый нашел своего соседа живым и невредимым. Бойцы, особенно молодежь, пожимали руки, обнимались, даже ошупывали друг друга и убеждались — да, невредимы. Это придавало всем бодрости.

И уже утром, когда повели охоту за отдельными солдатами белых, которые ближе других подобрались ночью к баррикаде и не сумели вовремя уйти из-под огня, насмерть был поражен одним из белых отважный юноша — Илюша Староватов... Отбив наступление белых, встретили Первомайский праздник. На якутском севере это еще зимняя пора.

Подняли над баррикадой красные стяги, прослушали по отрядам записанные на граммофонных пластинках речи Ленина, посменно побывали в Народном доме, выслушали политические доклады и даже потанцевали под цитру, гармошку и гитару. Позднее завязывались перестрелки. Белые готовились к новому наступлению, пока что пугая по ночам деревянными трещотками, имитировавшими пулеметы.

А в осажденном городке развивалось неистощимое молодежное изобретательство. Вся история военной техники, можно сказать, повторялась сызнова. Изобреталось оружие, и подлинное и поддельное.

Закладывали перед баррикадой фугасные камни, изобретали бомбометы и другие метательные снаряды. Исполняя обещание угостить белых свинцовыми «блинами», соорудили и пушку. Тут на помощь пришла наука в лице старого учителя физики, отца погибшего Илюши, Петра Хрисанфовича Староватова. Его школьный физический кабинет стал экспериментальной мастерской.

Сделали пушку из водомерной трубы, в свое время поставленной старым учителем на

Вилюе.

Когда пушка была готова, запалили и выстрелили в заречную сторону. Снаряд пролетел почти с версту.

Прибавили пороху — снаряд перелетел и на тот берег.

Уже весною, когда сделали с пушкой вылазку к штабу белых, — то ли пороху переложили, то ли еще в чем ошиблись, но пушка разорвалась. Но как бы там ни было, а свинцовыми «блинами» белых попотчевали.

Из города выходили в тайгу в «устрашающие» разведки отдельные бойцы, вооружившись до зубов поддельным оружием. Пробирались до ближайшей уединенной юрты и там в ночной час, собрав у пылающего камелька слушателей, демонстрировали свое оружие.

— Эта штука может убить сразу пятьдесят белых солдат, а эта — сто пятьдесят, — говорил разведчик, показывая бутафорскую гранату или бомбу.

— А скоро ударит наша новая пушка... С каждым днем открывается людям наша великая правда, и никакие козни не уничтожат ее.

И молва доносила до белых солдат слова разведчика.

Белые подсылали к осажденным коней, в гривы которых были вплетены записки, а однажды они захватили городского быка и потом отпустили его домой, подвязав к его рогам пакет. В посланиях белые угрожали в недалеком будущем беспощадной расправой, сообщали о падении Якутска, Иркутска, Москвы; в глуши тайги они казнили всех, заподозренных в сочувствии красным.

На вилюйской баррикаде не один раз вспоминали великого человека, который долгие годы стойко выносил неволю на вилюйской земле. И вот в устах таежных бойцов в дополнение ко всем другим боевым лозунгам советских воинов появились воодушевляющие слова: «Не сдадим земли Чернышевского!», «Будем стойкими, как Чернышевский!»

Вместе с портретом Ленина на баррикаде Вилюйска был и портрет Чернышевского.

Часто запевали полюбившуюся песню «Заветы орла» якутского поэта Ойунского:

Если умрет мое тело, пусть оно служит борьбе, Вынесите его на баррикаду и сделайте из него прикрытие. Пусть мертвое мое сердце и плечо задержат пулю врага.

Не сумев сломить сопротивление осажденных, белые решили брать измором.

Распутица принесла временную передышку. С наступлением же рано начинающейся на севере жары защитники городка вырыли окопы и усовершенствовали баррикаду, а белые, намереваясь поджечь город, тренировали для этого своих конников; вели подкопы, сооружали щиты для прикрытия бойцов в наступлении.

В белом стане совершали свои неистовые пляски шаманы и предсказывали скорую победу.

А в городке началась отливка настоящей пушки — трехдюймовки — из шести пудов колокольной меди, как говорили вилюйчане, — из «колокольного звона». Какие-то очень старинные рецепты помогли таежным литейщикам в их работе.

Но, прежде чем белые успели поджечь город, прежде чем осажденные вылили в подготовленную форму расплавленный металл, на полноводном весеннем Вилюе появился на виду у городка какой-то таинственный пароход.

Командиры вышли на берег, навели подзорку на пароход. И оттуда тоже, видимо, внимательно просматривали берег.

И вдруг над пароходом взвился красный флаг. И ударила пушка, послав снаряд в глубину тайги. И очередь из пулемета осыпало заречные тальники.

С парохода передали в рупор: пусть выедут представители командования.

Отвалила к пароходу лодка.

В городке почувствовали: осада снята. К наружным сторожевым постам уже пришли нарочные от населения, извещая: белые убегают.

Вот уже пароход пристал к берегу. В торжественном строю встретили его над весенней рекой защитники вилюйской баррикады. Узнали: только что вырвавшийся из окружения Якутск пришел на выручку к осажденным.

Командир прибывшего отряда сообщил: скоро будет образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика; разгромив с помощью старшего брата — русского народа — силы контрреволюции, якутский народ впервые в истории обретет свою государственную самостоятельность.

Пением «Интернационала», возгласами «ура», залпами из ружей встретили защитники вилюйской баррикады это сообщение.

Вскоре пароход ушел вверх по Вилюю, к Нюрбе и Сунтару, неся дальше радостную весть.

Многие молодые бойцы города тоже выехали в тайгу, повидаться с близкими, повести агитационную работу среди населения.

Некоторым из них к осени надо было снова вернуться в город и усесться на школьную скамью.

„Еду на север жить“

Деятельность Чернышевского была насильственно прекращена, и сам он лишен свободы, когда ему исполнилось тридцать четыре года.

Литератор, руководитель журнала «Современник», имевший огромное влияние на молодое поколение своего времени, он был арестован царским правительством в июле 1862 года и заключен в Петропавловскую крепость.

Силой своего могучего ума Чернышевский, по словам В. И. Ленина, «...умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей».

Царское правительство пошло на арест Чернышевского, не имея каких-либо законных оснований.

Лишь через четыре месяца узнику 11-й камеры Петропавловской крепости было предъявлено очень неопределенное обвинение в «сношениях с русскими изгнанниками и другими лицами, распространявшими злоумышленную пропаганду».

Два года длилось предварительное заключение Чернышевского, прежде чем был вынесен приговор.

Находясь в крепости, Чернышевский был вынужден вести напряженную борьбу со следственной комиссией, стряпавшей его дело. И в тюрьме он продолжал неустанно трудиться. Он намеревался написать многотомную энциклопедию знания и жизни. С подлинной энергией революционного бойца за сто десять дней он создает в тюремном каземате литературное произведение исключительной силы и значения. Это роман «Что делать?», в котором средствами художественной литературы Чернышевский решает задачи революционной борьбы за счастливое будущее родины и народа. Из Петропавловской крепости раздался ясный, спокойный, полный веры в дело революции голос Чернышевского:

«Будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее сколько можете перенести».

Ни с чем не сравнима была сила воздействия этого произведения на современников и на последующие поколения революционеров.

Роман «Что делать?» исключительно высоко ценил В. И. Ленин. Он говорил:

«Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь...»

Следственная комиссия подтасовывала факты, выставляла лжесвидетелей, изобретала улики, чтобы хоть как-нибудь обосновать заранее предрешенную расправу.

Наконец на закрытом судебном заседании Сенат, высший правительственный орган, вынес решение. Чернышевский был лишен всех прав состояния и приговорен к четырнадцати годам каторжных работ и затем к поселению в Сибири навсегда.

При всем старании палачи Чернышевского не могли, как им ни хотелось, обвинить его в заговоре, хотя слово это первоначально стояло в обвинительном заключении. За недостатком улик его все же пришлось заменить другим обвинением: Чернышевский был осужден за «злоумышление к ниспровержению существующего порядка».

Утверждая приговор, царь «изъявил монаршью милость» и сократил наполовину срок каторжных работ.

Но все эти меры казались недостаточными для расправы с Чернышевским. Уже после того, как приговор был утвержден, стали решать: а нельзя ли заживо замуровать Чернышевского в Шлиссельбургской крепости? Заточенным там государственным преступникам не позволялись ни свидания, ни переписка, и само нахождение их в крепости оставалось неизвестным даже их ближайшим родственникам. Они просто навсегда исчезали.

И только боязнь, что новое явное беззаконие может «привести к справедливому нареканию на пренебрежение законами самим правительством», как об этом говорилось в секретном докладе царю, удержало правительственные круги и самого царя от такой меры.

Чернышевский был осужден царизмом не за какое-либо отдельное совершенное им преступление, а за весь строй своего мышления. По словам В. И. Ленина, от его сочинений «веет духом классовой борьбы», и это не могли ему простить ни царь, ни правящие помещичье-крепостнические круги.

Он был подвергнут так называемой гражданской казни: был выставлен к позорному столбу на Мытнинской площади Петербурга и прямо оттуда увезен на каторгу в Восточную Сибирь, сперва на Солеваренный завод под Иркутском, а затем на Нерчинские свинцовые рудники Кадаю и Александровский завод в Забайкалье, вблизи китайской границы.

Так началось медленное убийство гениального человека.

Чернышевский изумлял своих товарищей по каторге глубокими и всесторонними познаниями. И на каторге он не прекращал литературной работы, хотя он был лишен возможности печататься. Не имея под руками научной литературы, он писал главным

образом повести и романы. Но часто ему приходилось сжигать рукописи, другие обрывать на полуслове, чтобы при обысках они не попали в руки тюремщиков. Много он держал в голове и мог на память читать своим товарищам по заключению эти незаписанные произведения.

На каторге был создан роман «Пролог», о котором В. И. Ленин писал: «Нужна была именно гениальность Чернышевского, чтобы... понимать, что уже тогда в русском «обществе» и «государстве» царили и правила общественные классы, бесповоротно враждебные трудящемуся. ...»

Истекал срок отбывания каторги. Чернышевский, естественно, ожидал изменения к лучшему своей участи. Его должны были перевести из так называемого разряда ссыльно-каторжных в разряд ссыльно-поселенцев. Чернышевский надеялся, что ему позволят поселиться хотя бы в относительной близости к Европейской России — «по ту сторону» Байкала. Он получит возможность трудиться для семьи, возобновить литературную работу, пусть даже в самых тесных рамках.

Чернышевского могли освободить в 1869 году — в льготный срок, согласно с «высочайшим манифестом» 1866 года, по которому царь по случаю рождения наследника сокращал всем сроки наказания и в том числе на одну четверть сокращал сроки отбывания каторги.

Его могли освободить в 1870 году на основании общего положения, по которому каждые десять месяцев каторги исчислялись за год.

Его, наконец, должны были освободить в 1871 году, когда исполнились полные семь календарных лет его пребывания на каторге.

Но проходил срок за сроком, а он все еще оставался каторжанином.

Уже уезжали на поселение каракозовцы — соучастники покушения Каракозова на жизнь царя, также отбывавшие каторгу на Александровском заводе. Суд их судил гораздо позже, и они были приговорены на более длительные сроки, а Чернышевского все еще продолжали держать в каторжной тюрьме, теперь уже сверхсрочно.

Чернышевский отлично понимал, что это не было случайной проволочкой или упущением мелких исполнителей.

В письмах к жене, в которых он был вынужден всякий раз предугадывать будущее по крайней мере на полгода вперед, так как ему позволялось посылать не более одного-двух писем в год, он недвусмысленно говорил, что все эти нарушения законодательства в отношении к нему могли быть совершены только по указанию свыше.

Но он не знал, какая спешная секретная работа началась в высших правительственных инстанциях, как только стало необходимым, согласно закону, освободить его из каторжной тюрьмы.

12 августа 1870 года генерал-губернатор Восточной Сибири в шифрованной телеграмме сообщал в Петербург шефу жандармов: «Срок работ Чернышевского кончился 10 августа. Закон требует отправить на поселение... Как поступить?» Шеф жандармов, изложив свои соображения относительно «неудобства» освобождения Чернышевского из тюрьмы, испросил разрешения у царя внести вопрос в совет министров, то есть фактически пересмотреть приговор по делу Чернышевского без решения суда.

Царь пошел на нарушение закона и наложил резолюцию: «Исполнить согласно с соображениями».

15 октября совет министров, ссылаясь главным образом на «его (Чернышевского. — Б. Л.) нравственные качества и то влияние, коим он пользовался в кругу молодежи и отчасти и ныне пользуется, по удостоверению шефа жандармов», вынес решение: «Во исполнение высочайшей воли его императорского величества... продолжив временно заключение Чернышевского в тюрьме в месте настоящего его пребывания, немедленно приступить к изысканию всех возможных мер к обращению сего преступника, согласно закону, в разряд ссыльно-поселенцев в такой местности и при таких условиях, которые бы устраняли всякие опасения насчет его побега».

Царь утвердил решение, а найти местность, отвечающую указанным требованиям, поручили генерал-губернатору Восточной Сибири Корсакову.

Через месяц место было найдено и решение было принято: сослать в Вилуйск Якутской области и поместить «в здание», где содержался раньше «преступник № 11»¹, под бдительным надзором жандармского унтер-офицера и стражи из местных казаков.

По мнению Корсакова, побег оттуда Чернышевского будет невозможен.

Но в принятом решении стыдливо умалчивалось, что «здание», в которое предлагалось поместить Чернышевского, было острогом.

Так царское правительство «освободало» Чернышевского из каторжной тюрьмы, направляя его в тюрьму, еще более страшную и глухую.

Но и после принятого решения Чернышевского продолжали держать на каторге еще около года, так как правительству стало известно о предпринятой смелой попытке

освободить Чернышевского известным революционером П. Лопатиным. Боясь побега в пути, его не отправляли в ссылку, и в то же время жандармы надеялись, что в ходе расследования дела Лопатина удастся установить связь Чернышевского с революционной эмиграцией и заново судить его.

Но вот, заключая все предшествовавшие письма к жене, в которых Чернышевский нарочно, чтобы могли прочитать жандармы, писал о своем праве и своих надеждах поселиться западнее Байкала, в Петербург пришла 21 декабря 1871 года в адрес родных короткая и внешне очень спокойная телеграмма:

«Еду на север жить».

В то время жандармы везли уже спешно и тайно одинокого царского пленника на север угрюмой, зимнею Леною до Якутска и дальше — в глубь дремучей вилгой-ской тайги.

С дороги Чернышевский, по неизменному своему обыкновению изображать все, что относится к его тюремной и ссылке жизни в успокоительных тонах, пишет, что и на этот раз все обстоит прекрасно, что поездка его устроена очень удобно, ссылаясь при этом для «фактичности» на шерстяные чулки, которые лежат у него в кармане и будто бы даже не понадобились.

Любопытно отметить, что в другой раз, когда потребовалось описать этот же путь, но уже не в плане лично пережитого «комфортабельного» путешествия, а чтобы отговорить жену совершить такую поездку, Чернышевский пишет, что путь этот «очень далек и очень труден... труднее, чем какие-нибудь путешествия по внутренней Африке».

После быстрой ямщицкой езды под угрюмыми скалами ленских берегов, после Якутска с остатками его древних деревянных башен и стен перед путником, сопровождаемым жандармами, расступилась и замкнулась безжизненная зимняя тайга с ее странным миром одиноких таежных жилищ.

Тусклая, будто сжавшаяся от стужи даль; без конца сыплющаяся с неба мельчайшая изморозь; час за часом оцепенелое сидение в узких таежных санках на холоде, замораживающем кровь.

Короткий отдых перед знойным камельком; наскоро выпитый чай возле студеных ледяных окошек; встреча с людьми этого одинокого жилья, приветливыми и добрыми, но беспомощными и жалкими в их скудной, отсталой и забитой жизни. И снова таежный путь.

И, наконец, пустынный городок, выросший в лесные дебри.

Полтора десятка русских домов, двадцать якутских юрт, а на краю их, над речным обрывом, — самое большое здание городка, обнесённое высоким деревянным частоколом: вилюйский острог...

Тяжелые ворота его распахнулись, встречая дальнего путника.

Чернышевский, выпущенный из каторжной тюрьмы, достиг своего нового «дома», отведенного в полное его распоряжение. На окнах — тюремные решетки, за стеною комнаты хозяина в одном помещении — жандарм, в другом — два казака; за окнами — острожная стена, а за нею — караульные будки с часовыми. Так выглядела «вольная квартира» ссылке поселенца Чернышевского.

Но в самых успокоительных тонах Чернышевский писал родным в своем первом письме из Вилюйска:

«...дом, в котором я помещаюсь, имеет большой зал и пять просторных комнат; все это очень опрятно; совершенно тепло».

Издали по такому описанию можно было представить себе чуть ли не барские хоромы. Однако родным, и в особенности жене, чтобы не волновать, следовало, по мнению узника, возможно меньше сообщать о суровой действительности.

Вокруг бескрайная тайга, в которой, пожалуй, больше топей и озер, чем настоящей твердой земли. «Кругом болота, — писал Чернышевский о Вилюйщине. — А земля вечно мерзлая внизу. Все месяцы тепла проходят в том, что она понемножку оттаивает; поэтому от начала здешней весны до конца здешней осени длится то нездоровое время, какое бывает в России только две-три недели, пока высыхает, согреваясь, промерзшая зимой земля».

И самый городок Вилюйск, о котором Чернышевский писал, что это только «... по названию город; но в действительности это даже не село, даже не деревня в русском смысле слова, — это нечто такое пустынное и мелкое, чему подобного в России вовсе нет. Надобно вообразить хугор, — продолжал он, — в котором возможно жить лишь потому, что он подле города или большого села, где есть товары, и надобно перенести воображением этот хугор в пустыню, за 700 верст от ближайшего рынка...»

Такими свойствами обладала эта «естественная тюрьма, созданная самой природой», как справедливо отозвался когда-то о вилюйских местах один из современников Чернышевского.

Потянулись долгие годы вилюйской неволи — трагические и полные самого глубокого внутреннего героизма.

Чернышевский не оставляет попытки возродить литературную деятельность и в вилуйском заточении. Он разрабатывает планы, как ему снова начать печататься, преодолев при этом все препятствия жандармов. Он ведет неусыпную борьбу за сохранение всех способностей своей могучей натуры в условиях вынужденной многолетней бездеятельности. Он неотступно стремится поддержать свои знания на уровне новейших данных науки, несмотря на одинокое существование в бескрайней глуши. Исполненным напряжением воли он не только не теряет душевного равновесия, но и сохраняет всю силу самообладания и чувства собственного достоинства, особенно в сношениях со своими тюремщиками. Ни в чем не уступает он раз принятому решению говорить в письмах родным только об удобствах своей жизни. И, наконец, в полном одиночестве он мужественно борется за спасение своего гибнущего организма. Вот что было содержанием этой мучительной драмы, которая недоступно для посторонних глаз разыгрывалась в таежной тиши.

Освобожденная память

Приехав в таежный городок, мы познакомились с его самыми глубокими стариками. И не обманулись в надеждах: в Вилуйске нашли старожилы, которые помнили живого Чернышевского.

В большинстве своем это были неграмотные люди, из бывших местных казаков или из их семей, прошедшие суровую школу жизни. Они не могли, конечно, воссоздать всю историю вилуйской неволи Чернышевского. Не могли они и сообщить что-нибудь новое и о внутренней жизни узника, недоступной для постороннего наблюдателя. И все же вилуйские старожилы сумели добавить несколько новых интересных штрихов к облику живого Чернышевского и ранее неизвестные новые факты его вилуйской жизни.

И тот факт, что старики что-то рассказывали, явилось как бы «освобожденной памятью» о самом запрещенном человеке старой России. Ведь недаром говорили раньше, что в Вилуйске отсутствуют какие бы то ни было сведения о Чернышевском. Действительно, так оно

и было: в старое время люди остерегались заводить речь с посторонними о таком человеке. И все памятное о нем лежало под спудом. И только в свободном Вилуйске старики смогли заговорить.

Воспоминания Аннушки Жирковой

Еще не прошел октябрь, а на вилуйскую землю вместе с первым снегопадом пришла суровая стужа.

За окнами солнечное зимнее утро. Все кажется пылающим на костре — такое яркое поднимается солнце.

Но, едва выглянешь в этот как бы воспламенившийся мир, в дверь ворвется клубами морозный воздух и голову, еще непокрытую по летней привычке, сожмет стужей, точно тугим обручем.

В такое утро к нам в домик № 5 по улице Чернышевского, где мы поселились в Вилуйске, пришла высокая худощавая старушка с ласковыми синими глазами. Была она в старинной кацавейке в талию с рукавами, собранными буфами на плечах, в выцветшей фиолетовой повязке. меховая оторочка на воротнике кацавейки облегла костистую оливковую шею. В молодости это была, вероятно, очень красивая женщина смешанного, русско-якутского типа.

Это была Анна Александровна Жиркова, первая из вилуйских старожилы, которая, как мы узнали, могла что-либо знать о Чернышевском.

Высокая старушка присела на табуретку, в отдалении от стола, и как-то удивительно просто заговорила о Чернышевском.

— Приехал Николай Гаврилович, — начала она рассказ, — жил в остроге двенадцать лет. Я ходила к нему полы мыть, белье стирала; когда что порвется, зашивала. Все двенадцать лет молоко носила, каждый день по две бутылки. По три копейки платил за бутылку. У, большой доход был, куда девать такие деньги! — заключила она, зажмурив глаза.

Дела шестидесятилетней давности оживали в этих словах, негромко разносившихся по комнате. Жирковой, которой было семьдесят восемь лет в момент нашей встречи, в 1872 году, когда Чернышевский был привезен в Вилуйск, было восемнадцать лет.

Чернышевский в одном из писем к жене писал, что с его приездом в Вилуйск питаться молоком стало здесь труднее прежнего: «...мое соперничество в покупке молока произвело оскудение этого продукта на здешней бирже. Ищут, ищут молока — нет молока; все куплено и выпито мной. Кроме шуток, так. Только одно семейство

держит здесь летом дойных коров в таком числе, что имеет молоко для продажи. И вообрази: в начале весны я упросил этих богачей (!!) продавать мне по 2 бутылки в день... Обещано и исполняется: люди честные, не хотят изменять слову... Две бутылки — это удой от трех коров, — таковы здешние коровы».

«Две бутылки» — то, что эта подробность полностью совпадала в описании Чернышевского и в словах Жирковой, сразу же вселило доверие к памяти рассказчицы.

— Приносила я ему молоко часов в девять утра, прямо в руки давала, он уж бывал на ногах, ходил по камере в халате. Тут же сам примется кипятить молоко и кладет уголек, чтоб не пахло хотоном¹, — продолжала Жиркова.

И это свидетельство также полностью совпадало с описанием самого Чернышевского: «Приносят утром молоко. Топится печь. Я беру горячий уголь, обдуваю от пепла, опускаю в молоко; далее, другой уголь, третий; идет шипенье, кипенье».

— Белье стирал часто, ходил чисто, — рассказывала старушка. — Сперва белье хорошее носил, жена присылала, а потом он прекратил получать¹ и в последние годы совсем простое носил. Жили мы тогда в юрточке, и он захаживал к нам иногда.

Придет, поздоровается; как здоровье, спросит, что есть и чего нет, все раз узнает; очень по-домашнему себя вел. Меня, незамужнюю, молодую, называл Анной Александровной. Вот, бывало, едет лесочком якут, Чернышевский и ему кланяется, шапку снимает, руку подает, здоровается. Так вот ласково жил.

Полны глубокого значения были эти встречи одинокого вилюйского пленника с проезжавшими или проходившими лесочком якутами — «инородцами», как неуважительно называли в старое время всех нерусских людей. Веками воспитывалось и неуважительное отношение к ним.

Делясь в письмах из Вилюйска первыми впечатлениями о местных якутах — «людях, каких нет жалче на свете», Чернышевский описал случай, который произошел с ним. Вероятно, подобные случаи настолько часто повторялись, что они вспомнились бабушке Жирковой через шестьдесят лет.

«Они при встрече снимают шапку за двадцать шагов и стоят (на 30-градусном морозе) с открытыми головами. ... Как тут быть с ними? По-русски они не понимают. Я вздумал так: подхожу, беру у этого встречного шапку из его рук и надеваю ему на голову; потом отхожу, кланяюсь ему, надеваю свою шапку, показываю ему знаками, что и он должен так делать: поклонился и опять надень шапку, а стоять без шапки на морозе и ждать, пока я пройду несколько десятков сажень, это лишнее. Многие понимали эту мою процедуру с первого приема. Но многие — лишь начну я протягивать руку, чтобы надеть его

¹ Чернышевский просил родных присылать в ссылку все самое простое и необходимое.

шапку ему на голову, пускались бежать от меня, воображая, что я намерен драться; отбежит, стоит и смотрит, бегу ли я за ним бить его. Я рассмеюсь; тогда и он поймет, что ошибся, тоже хохочет».

Так, подобно внезапному среди зимы теплу, входило это ласковое внимание Чернышевского в окраинную жизнь.

— Чернышевский, Николай Гаврилович... — снова раздумчиво назвала Жиркова человека, о котором вспоминала, — на простых людей славный был. Нищего встретит и того спросит, что собрал. С бабушкой Чисто-плюевой дружил¹ за то, что она отказалась от бога. Такая же, как он, «присланная» была. Ее потом в Халбас-ский наслег угнали. А начальство не терпел, никогда к себе не допускал, только когда пособие получал, встречался с ними — расписку давал. Приезжал сюда как-то губернатор, Чернышевский и его к себе не допустил, заперся на крючок: к нему не войти, и сам не вышел. А исправника выставил один раз пинком из камеры.

Иной раз Жиркова замолкала, погружаясь в воспоминания, а затем с большой готовностью продолжала:

— Летом ходил по городу в сером халате с вышитыми узорами и вроде как в колпаке. А зимой — в енотовой шубе, в черной мерлушковой шапке и в катанках. До казенной зари² свободно ходил, а к этому часу должен был вернуться в камеру. И время угадывал по звездам. В теплую погоду всегда-то у него книжечка под мышкой имелась. Гулял помногу, грибы собирал, ягоды тоже, красную смородину, бруснику. А то больше канавки копал — для этого с собой то палку, то лопаточку носил, — под тюремным обрывом всё-то озерки выпускает, лужку в лужку сгоняет, пока не уйдут в реку.

Так продолжала Жиркова воссоздавать давний, уже во многом забытый облик человека, которого она сразу узнала на портрете, незадолго перед тем нарисованном учениками вилюйского педтехникума имени Чернышевского.

В те дни как раз праздновалось торжественное открытие нового здания педтехникума, украшающего въезд в Вилюйск с западной стороны.

— Он самый и есть, Николай Гаврилович! — воскликнула Жиркова, взглянув на

портрет, когда молодые художники его показали ей и спросили, узнает ли она кого-нибудь.

— Волосы длинные носил, а бороду скраивал¹, — заметила рассказчица после того, как нечаянно сообщила этот маленький эпизод с портретом. — Голос имел мягкий и вроде по-бабы протяжный. — Она будто прислушивалась к звукам, вдруг ожившим в ее памяти. — И у людей бывал, — осторожно, точно пробираясь по узенькой тропинке, отозвалась она на вопрос. — У Веры Ивановны и у Лаврентия Алексеевича Кондаковых часто бывал. Я от самой Веры Ивановны слышала — все уговаривал послать сыновей учиться в Россию. Красавица и умница была она. Многим ссыльным потом помогала. О Николае Гавриловиче всегда отзывалась на редкость хорошо. У нее-то, пожалуй, только в лавке бывал, а к Евпраксии Гавриловне Карякиной, конечно, на квартиру захаживал, сна ему обед стряпала... В церкви бывал ли? На моление чтобы ходил, этого никогда не случалось. Видела его на свадьбе, да под пасху разве зайдет, шапку снимет, руки за спину заложит и так-то отстоит службу. Только этими немногими замечаниями коснулась Жиркова стороны самой, может быть, тягостной в вилюйской жизни Чернышевского — общения с человеческим миром.

Два церковнослужителя, три купеческие семьи (Карякины, Кондаковы, Расторгуевы), два-три чиновника да еще исправник составляли в то время все вилюйское «общество». Конечно, это обрекало великого человека на полное духовное одиночество. Здесь не было даже других политических ссыльных — Вилюйск и сотни тысяч квадратных километров таежной дебри вокруг были отведены для заключения только одного политического «преступника», особенно опасного для империи. Лишь ссыльные крестьяне — старообрядцы Чистоплюевы и Головачева — являлись исключением в обывательской среде

¹То есть подстригал.

маленького пустынного городка, но их тотчас же постарались убрать из Вилюйска, как только было обнаружено общение с ними Чернышевского и его попытка заступиться за них перед царем.

А остальные... «Нет возможности иметь с этими русскими никакого разговора; он или она трус или трусиха до такой степени, что в каждом слове подозревают какую-нибудь гибельную для него или для нее ложь», — писал Чернышевский о вилюйских обывателях в первых своих письмах из Якутии и рассказывал о какой-то купчихе, которая содержала даже немую служанку, чтобы та не могла разглашать семейные тайны. «Среди них есть и дурные, и хорошие, — писал он в другой раз, — но все они совершенно чужды всяких качеств, по которым люди могут быть для меня нескучными собеседниками».

В переписке Чернышевского с родными сохранились следы не только этого неизбежного духовного одиночества, но по временам вынужденного затворничества, когда придирчивость тюремщиков заставляла его вовсе не видеться с людьми городка. Для успокоения жандармов, читавших всю его переписку, он порою старательно доказывал в письмах, что его общественные сношения менее разнообразны и занимательны, чем собирание грибов и прокапывание канавок, и что часто проходят целые недели так «удачно», что он успеваешь не видеть в лицо никого, кроме казака, подающего ему самовар и еду.

И тем не менее Чернышевский, по-видимому, оказывал на окружающих влияние. Это не совершалось открыто на глазах у всех и не оставило прямых свидетельств. А ведь даже в особой инструктории жандармского управления отмечалась способность Чернышевского «располагать к себе лиц, приставленных к нему для наблюдения». И только отдельные, случайно сохранившиеся следы указывают, какое подчас неожиданное направление приобретала эта замечательная способность. Писатель Короленко, например, встретил на Лене, по пути в якутскую ссылку, молодого жандарма, который поразил его некоторыми оборотами речи и начитанностью. Как выяснилось, этот жандармский унтер возвращался из Вилюйска после года службы при Чернышевском... Еще два-три подобных намека, — все же остальное бесследно затерялось. И Жиркова ничем не могла уже восполнить этот пробел.

В те времена в Вилюйске, кроме приводимого выше предания о Евпраксии Карякиной, ходил еще слух о рукописях, будто бы оставленных Чернышевским. Уезжая, он якобы оставил их попу Ивану, сказав при этом: «Спрячь получше; будешь нуждаться, пошли в журнал, получишь большие деньги» Одни говорили, будто попадя извела рукописи на хозяйственные нужды после смерти мужа, а другие — будто спрятала еще поглубже и так, что теперь никто не знает, где они находятся.

Но, вероятно, это было чем-то вроде легенды о кладе, какие обычно имеются в каждой местности. Во-первых, сам «поп Иван» принадлежал к числу тех двух местных священников, о которых еще в 1876 году Чернышевский писал, что он, обуздывая дружбу скучных обывателей городка, и их приучил обмениваться с ним дружественными чувствами только при встрече на улице и, следовательно, едва ли он мог дарить

рукописи таким «друзьям». Во-вторых, сын священника Ивана, пожилой уже фельдшер Дмитрий Иванович Винокуров, с которым мы повидались, объяснил, что после смерти его отца действительно осталось много бумаг, но были это всего-навсего епархиальные циркуляры, которые матушка пустила в обиход. Вилюйчане же, которым не хотелось верить, что после отъезда Чернышевского ничего не осталось, утверждали, что в поповском архиве хранятся рукописи Чернышевского. Впрочем, известно, что Чернышевский передал в Вилюйске прокурору Меликову рукопись своего романа «Отблески сияния», которая лишь тридцать пять лет спустя, в апреле 1917 года, поступила в рукописное отделение библиотеки Академии наук. После разговора про общение пленника с людьми городка Жиркова принялась рассказывать о камере, в которой содержали «ее» Николая Гавриловича. — Сундук стоял громадный, стол тоже великий был, кровать деревянная, и книгами забиты стены, — уйма их такая! Березовый диванчик тоже стоял, сам его сделал. Еще карточки жены и сыновей запомнились ей. На минутку Жиркова примолкла, а затем сказала, будто в эту самую минуту припоминая:

— Тихо-тихо по-своему песню поет. Всегда с песней выходил. Слышно, поет, а что — услышать невозможно было, да и мало мы понимали тогда. — И, уже заключая свою речь, сказала: — Когда уезжал, радовался. Что говорил, не знаю. Я только издали видела, как уезжал: утречком посадили его на кожу¹ и повезли в объезд города. Так и скрылся от нас Николай Гаврилович.

На этом эпизоде расставания с Чернышевским Анна Александровна Жиркова закончила воспоминание.

— А что с грибами он делал? — спросили мы рассказчицу нарочно о мелочи, чтобы еще раз убедиться в точности ее памяти.

И тогда она ответила серьезно, как на экзамене:

— Грибы Чернышевский солил. У него и кадушка деревянная имелась. Сундук, стол, кровать, стул и кадушка для солений, — отчетливо и памятно перечислила она инвентарь.

— А канавки он копал для чего? Объяснял, зачем он это делал? — снова обратились мы с вопросом.

— Вот и не знаю, милый, — сказала она и вдруг спохватилась и заговорила с горячностью: — Как знать я могла! Когда копал, штанины по колено засучивал. Я стыдилась и подойти близко!

Еще одна подробность всплыла в ее памяти, но это не было тем настоящим объяснением увлечения Чернышевского в Вилюйске «лужками» и озерками, какое довелось нам услышать позже от других вилюйских стариков.

Вскоре Жиркова поднялась с табуретки и, прощаясь, пригласила прийти на разговор к ее старику. Смело вышла она в легкой кацавейке из комнатного тепла на обжигающую стужу и промелькнула за окнами.

Разговоры старика Ладыжки

Неподвижно склонилась тяжелая голова с седыми щетинистыми волосами. Морщинистое лицо, старческая краснота на крупных, обвислых складках длинной шеи.

¹Чернышевского предполагали вывезти из Вилюйска в «люльке» — особом приспособлении из кожи, которое пристраивают в виде носилок меж двух коней. Подробнее об этом рассказано в главе «О чем поспорили старики». Сильно вперед выдается крепкий большой нос. Один глаз прищурился больше другого.

Это муж Жирковой, восьмидесятипятилетний Константин Иннокентьевич Жирков, по прозвищу Ладыжка, служивший в казаках в годы заключения Чернышевского в вилюйском остроге.

Предупрежденные о том, что старики рано ложатся спать, мы поспешили к ним в начале вечера. С каждой минутой усиливался под ногами скрип снега и ярче разгорались в небе зимние звезды.

На колокольне только что пробил восемь часов, когда мы нашли крохотный домик стариков в глубине глухого заснеженного двора. Но, когда мы вошли к ним, Жирковы уже собирались ложиться спать.

Ладыжка, высокий, сухой старик, двигался по комнатке, едва освещенной неровным огнем, пробивающимся через щели плиты, с выпущенной рубахой, почесывая спину, разморенный жарой и сонный. А Аннушка разбирала постель в соседней горенке, озаренной свечкой.

На наш вопрос, сможет ли старик сейчас рассказывать, она ответила:

— И утомился и спать хочется, но как можно, чтобы рассказывать не хотелось.

Расскажет, — заключила она и, приготовив постель, вышла из спаленки.

Старик заправил лампу. Теперь в комнате горели лампа и свеча, внесенная из

спальни, и продолжала полахать и помигивать плита. При таком тройном и очень разнородном освещении мы уселись за стол.

Старик пригладил большой ладонью свои плотные седые волосы и остался так же неподвижен и молчалив. Он совершенно забыл русскую речь и ждал помощи от Аннушки.

О том, как он говорил по-русски в молодости, свидетельствует донесение, с которым он явился однажды к вилюйскому исправнику барону Дерсау. Об этом вспоминали вилюйские старожилы.

Рассказывают, что Жирков прибежал тогда к исправнику и отрапортовал:

«Мастыр горит, беда стоит, охотниктар пожар пустили; Аннышкам корабатын доит. Наташам эрин пошта-нигын пуговицатын шьет. Тушить некому!»

Это значило:

«Случилась беда, горит покосное место, охотники пустили пожар; но Аннушка коров доит, а Наташа (свояченица) пришивает на мужниных подштанниках пуговицы.

Тушить некому!»

Тогда уже почти не по-русски звучала речь вилюй-ского казака Жиркова. Случай же с пожаром относился к тому времени, когда якутские власти были охвачены страхом за одинокого вилюйского пленника: с 1875 года сибирские жандармы были очень встревожены слухами о группе революционеров, которая будто бы стремится освободить Чернышевского, и с тех пор губернатор беспрестанно предостерегал вилюйским властям всяческие меры строгости и предосторожности: следить за каждым человеком, появляющимся в районе Вилюйска, например за геологами, которые направлялись туда; не отлучаться от узника даже в случае (чего особенно боялись) пожара в городе...

Заметно было, что старику приступить к рассказу трудно. Но постепенно, от вопроса к вопросу, оживала его речь.

— Когда пришел мне черед служить при Чернышевском,— начал рассказ старик, — он отбывал последние годы ссылки. Очень помню его за обращение; ко всем к нам, низшему персоналу, ласково относился: снимал шапку, здоровался.—Старик показал это, неловко держа руку, протянутую вперед.

Помнится, в первую минуту удивило, что угрюмый старик начал именно с этого. Но Жирков продолжал держать на весу протянутую вперед руку. И через этот жест вдруг дошла к нам, из глубокой давности, замечательная правда — как Чернышевский пожимал неловко протянутую руку казака, своего охранника, непривычного к такому вниманию.

И стало понятным, что настоящая доброта, скрытая под суровой внешностью старого муштрованного служаки, позволяла Ладыжке вспомнить о живом Чернышевском.

— Двор острога был не очень просторен, пустоватый, больше песку и мало зелени, — продолжал рассказывать старик. —Лес стоял за частоколом саженьх в сорока. А камера его была большая, немного продолговатая. Окнами выходила она на юго-восток, сама по себе светлая, да только свету мешали пали¹. Гулял Чернышевский по городу без охраны, но только это одна видимость была, а на деле постоянная за ним слежка велась. Все под тюрьму², бывало, уйдет и там прокапывает канавы; часто на обрыве берега сидит и за речку смотрит. Острог стоял недалеко от берега, теперь на этом месте Вилюй идет — река подмыла и снесла шагов на двести берег, рухнул и острог. Служило при Чернышевском нас семеро казаков, один жандарм да два урядника. Ночью двое его посменно караулили, ходили снаружи вдоль палей.

Сменялись через каждые два часа. Зимой на нас были тулупы, катанки да бараньи шапки с красным донышком и кокардой. Так и караулили его. Ночи-то зимние долгие, а Чернышевский сидит с огнем допоздна: уж куда как за полночь перейдет. Называли мы его меж собой Николаем Гавриловичем...

Только это помнил Жирков. А хотелось услышать что-нибудь существенное не только о подопечном узнике, но и о человеке.

— Отапливалась камера недурно, да только все равно за зиму отсыреет, а он в морозы почти не гулял,— рассказывал дальше старик. — К нему тоже никто почти не захаживал. Так и содержали мы его одного-одине-шенького во всем остроге.

Пораньше его сидел здесь Огрызко, а позже — монастыревцы³. Те уж свободно не гуляли, в кандалах сидели, только и слышно было, что звон цепей...

Но, когда нам показалось, что ничего Жирков не сможет добавить, он вдруг оживился и вне всякой связи с предыдущим заявил:

— Носил с собой Чернышевский железную лопаточку и все-то выпускал из канавок воду...

¹Пали — бревна с заостренными концами, из которых строились тюремные частоколы.

Чувствовалось, что с какою-то определенной мыслью решил он вернуться к этой теме о канавках, о том, как осушал Чернышевский маленькие озера под обрывом, неподалеку от острога.

С минуту старик молчал.

«С начала весны я провожу время на открытом воздухе не для простого гуляния, а с целями более возвышенными, в занятиях, наполняющих меня самого уважением к себе, в подвигах, повергающих в изумление якутов, издали созерцающих мои труды. — В нескольких десятках шагов от моего дома, стоящего на довольно высоком и сухом месте, начинается поросшая жиденьким кустарником сырая низменность. По ней из лужицы в лужицу текут ручейки. Я беру щепку и прилагаю свои познания в гидростатике к расчистке этих ручейков; то самое занятие, которому усердно предаются деревенские ребяташки в русских селах... Не подумай, что я только смеюсь; нет, совершенно серьезно: я осушил несколько десятков квадратных сажень сырой низменности моими достопочтенными трудами. Не работать же, в самом деле, на огороде, как я думал было в первую весну: на это у меня не хватило бы терпенья. Но взять щепку, сбросить ею с десятку щепотей песку и потом полчаса смотреть, как углубился от этого ручеек — это годится, чтобы проводить время на открытом воздухе», — так шутливо описывал Чернышевский свои летние занятия в письме к жене в 1875 году.

Через год он снова сообщал о таких же летних работах, но только в еще большем масштабе — над целым наливным озерком при помощи заправской железной лопатки. Но что знали о таком странном увлечении узника сами вилюйчане? Как Чернышевский объяснял им свою работу, — хотел ли он показать полезный пример осушения болота или она служила ему только физическим упражнением? .. Но почему же тогда ручейки, почему же, в самом деле, не огород?

Мы поторопились спросить об этом старика.

— Он так говорил, — заявил в ответ старый казак, медленно произнося каждое слово: — «Мелкие воды выпускаю: пусть, как я, не остаются в заключении, а идут в реку». Ладыжка произнес это с поразительной для него отчетливостью и энергией. Вдруг ожила новая, не менее замечательная черта живого Чернышевского в вилюйской ссылке. Недосказанная в письмах мечта о воле и живущая в тех же письмах неиссякаемая жажда свободы нашла свое выражение в словах старика. «Сбросить с десятку щепотей песку, а потом полчаса смотреть, как углубился от этого ручеек...»

Вот почему он занимался не огородом при всей полезности такой работы. Вот почему Чернышевский запомнился знавшим его людям как «освободитель вод».

Вспыхнувшая на минуту память старого казака снова угасла.

— На вид ему было, пожалуй, лет иод шестьдесят, — раздумчиво заметил Ладыжка. Но Аннушка, которая все время внимательно прислушивалась к его словам, решительно не согласилась с ним.

— Не может того быть, — горячо вступилась она, — моложе он был, поменьше сорока. Этот спор стариков было легко объяснить: Аннушка встретила с Чернышевским в первый год его приезда в вилюйский острог, и по силе ранних впечатлений он больше запомнился ей молодежью; старик Жирков сторожил узника в последние три года. Чернышевского изменили за это время и годы и состояние его здоровья настолько, что спор стариков о его возрасте свелся к спору о молодости и старости.

— А на вид был он хороший, здоровый, — продолжал старик Ладыжка. .

— Не болел, не видно было, чтобы доктора к себе звал, — соглашаясь, дополняла его Аннушка.

— Ходил медленно, держался прямовато, не шибко горбился, — снова заметил Жирков.

— А пожалуй, согнулся маленько, — поправила мужа Аннушка, сама уже больше склоняясь к тому, что Чернышевский состарился.

Так поспорили в заключение Аннушка и Ладыжка о внешнем облике Чернышевского в вилюйскую пору его жизни.

Но старики не знали, какой напряженной и глубокой драмы, неведомой им, наблюдавшим великого человека только внешне и частично, коснулись они обсуждением этих перемен.

Из года в год, в продолжение всех двенадцати лет вилюйской ссылки, Чернышевский сообщал жене о своем «неизменном» здоровье.

«Сам я, по своему неизменному обычаю совершенно здоров», — читаем мы в августовском письме 1873 года.

То же сообщалось в августе 1874 года:

«Я совершенно здоров, живу по-прежнему хорошо, без всяких неудобств, без малейших стеснений или неприятностей».

То же в июле 1876 года:

«Прибавлю неизменное известие о себе: я совершенно здоров и живу хорошо».

То же в 1881 году: «Мое здоровье превосходно. Живу я в хорошем изобилии всего, надобного для моего комфорта».

Кончался 1882 год, исполнилось одиннадцать лет вилюйской суровой жизни, а приписка осталась все такую же, если не более того оптимистичной и успокои-

тельной:

«Сам я, по своему неизменному обыкновению, совершенно здоров; и еще не чувствую ни малейшего признака обременения лет на моих плечах...»

А ведь это только немногие, наудачу взятые выдержки. Раз принятое решение писать родным только о хорошем состоянии своего здоровья было доведено до конца с истинно Чернышевской неумолимой последовательностью.

Те же письма полны совершенно необыкновенной заботы о здоровье любимой женщины. Чернышевский непрестанно пишет о самых теплых и солнечных странах мира, убеждая жену в целебности для нее южного климата. Из года в год звучит с северной вилюйской стороны настойчивая просьба последовать его советам и проводить каждую зиму в теплых краях. Его письма полны обстоятельных подробностей о юге, точно он сам всю жизнь провел на курортах в лучших уголках земли, а не почерпнул эти сведения из имевшихся у него под руками справочников. Чернышевский с необычайной яркостью описывает Южную Италию, Андалузию, Тоскану, Ниццу и «прелестную Сицилию», устанавливая тончайшие различия их климатов, сравнивая красоты горных видов, очарования природы и удобства жизни. Кончался май 1877 года, едва наступила северная весна после шестой зимы, прожитой на севере, в острожном каземате, а из Вилюйска уже спешило письмо, поющее гимны жизни под благодатным небом юга, на открытом свежем воздухе.

Правда, можно предположить, что эти настойчивые восхваления юга, Италии имели особое значение, были своего рода конспирацией: Чернышевский хотел, чтобы жена выехала за границу на случай возможного его побега.

«Хороший», «здоровый», «пышноватый на вид» в глазах простых людей, свидетелей его жизни в ссылке, он таким же старался выглядеть и в своей переписке с родными. И только по двум письмам, направленным секретно по мужской линии — опекуну семьи Чернышевского А. А. Пыпину, — мы узнаем истинное положение вещей. Но сколько и тут будто невзначай, но на самом деле очень искусно вставленных успокоительных слов.

«Я совершенно здоров, — вот это одно требует оговорки... Правда, у меня ревматизм по всему телу, и особенно по всей левой стороне тела; правда, ревматизм в левой стороне груди не может не расстраивать важнейших органов кровообращения; правда, это ведет к аневризму; правда — что хуже ревматизма, — у меня малокровие. — Все так, но все это не очень важно. Смерть от аневризма, когда придет, то придет; а пока все это не мешает моему здоровью быть очень хорошим.

И, до вчерашнего дня, я знал о своем здоровье только это...»

Но вот в Вилюйск, как говорится в том же письме, случайно заехал инспектор якутской врачебной управы, он пришел к Чернышевскому с обыкновенным светским визитом. За чаем и разговором «о вещах вовсе не медицинских: о латинских поэтах, о греческой истории», взгляд гостя упал на шею гостеприимного хозяина, и, взглянув на Чернышевского, инспектор вдруг оборвал ученую беседу.

«...он вдруг прерывает нашу ученую беседу, — пишет Чернышевский, — и говорит: «У вас растет зоб». — Я смеюсь. — «Не может быть». — «Да». Я возражаю: это, вероятно, маленькая опухоль от простуды. Нет; оказалось правда зоб.

Ты видишь, я смеюсь, говоря об этом, — продолжает дальше это искусное письмо Чернышевский. — И, конечно, в сущности, все пустяки, в том числе и эта скверность, зоб. Но сам по себе гадость ничтожная, он разочаровал меня в моей уверенности, что, благодаря моей чрезвычайной гигиенической осторожности, здешний климат не действует на меня. Действует, как видно по зобу. Мой гость, медик, сказал, что это было у его супруги, было у его детей (они недавние приезжие в Якутске), но довольно хорошо излечилось у них; излечится и у меня. — Я в этом и не сомневаюсь. Следовательно, все-таки мое здоровье очень хорошо».

Необходимость получить хотя бы заочный медицинский совет и выписать лекарства вызвали это вынужденное признание. Но ни ревматизм, ни аневризм, ни малокровие, ни зоб ничего не изменяли, — здоровье неизменно оставалось очень хорошим, а все остальное выглядело пустяками: «Ты видишь, я смеюсь, говоря об этом...»

Только через два года, вследствие случайной оговорки в письме к сыну, где Чернышевский, объясняя, почему он не может пользоваться бромом, упоминает о скорбуте, и в ответ на последовавшие за этим настойчивые требования Пыпина и сына открыть правду, Чернышевский объясняется откровеннее. И тогда мы узнаем, что, кроме других болезней, Чернышевский страдал еще и злокачественным скорбутом, то есть цингой, как мы больше привыкли называть эту болезнь.

«В моем организме оказался скорбут, помешавший лечению зоба, — читаем мы в этом запоздалом вынужденном признании. — Почему я не предупредил, что нахожу в себе, кроме других болезней, и скорбут? — Да, я виноват. Я. Это было очень глупо. Но — я не мог написать, что у меня скорбут. .. Я хотел, чтобы вы думали: «Он может лечиться недурно».

Это были оправдания ни в чем не провинившегося человека. И дальше он сообщал

жестокую правду, которая раньше скрывалась.

«Я написал о том медике нелепость: письмо к вам... было наполнено похвалами и признательностями тому инспектору врачебной управы. Все это нелепость.

О фактах я промолчал.

Он зашел ко мне по обязанности. Ему было приказано губернатором, знавшим, что я болен, лечить меня. Какая ж тут признательность ему за визит? — Он не смел не прийти.

Я знал, что у меня скорбут. Я ел бруснику, когда мог доставать. Я ел ее пудами. — Я сказал ему: «у меня скорбут». — Он нашел: нет. Он был пьяница, пропивший свой маленький ум и все свои маленькие прежние знания. Скоро я услышал, что его увезли из Якутска в больницу сумасшедших, от пьянства. Но тогда он был еще в совершенно здравом уме. Лишь глуп и совершенный невежда в медицине, — хуже плохого фельдшера. Но я думал, что все-таки он имеет хоть ту клиническую опытность, какую имеет всякий сторож при госпитале. Сильный скорбут виден всякому сторожу. И я подумал: «остатки скорбута ничтожны. Не стоит писать о них». — Как мог я писать, не говоря, что медик, правда хуже фельдшера, но все-таки, — вероятно, хоть сильный-то скорбут увидел бы?.. А живущий теперь здесь (медик — Б. Л.) вовсе идиот, бедняжка...»

Таким не менее существенным наблюдением заключалось это единственное откровенное признание Чернышевского о себе в письмах из Вилюйска.

После этих признаний трагически звучит шутовское описание, которое мы читаем в письме к жене, отправленном тремя месяцами спустя:

«Вчера я совершил гастрономическое открытие. Здесь очень много смородины. Иду я между кустами ее и вижу: она цветет. Мне вздумалось нагнуться, рассмотреть форму ее цветков, которой, разумеется, я не знал хорошенько. Нагнулся и рассматриваю. А с другого отростка лезет мне прямо в губы гроздик цветков, окаймленный молоденькими листиками. Я и попробовал, вкусно ли будет все это вместе, цветки с молоденькими листиками. И съел; мне показалось: это походит вкусом на салат; только много нежнее и лучше. Салата я не люблю. Но это понравилось мне. И обглодал я куста три смородины. — Открытие, которому едва ли поверят гастрономы: смородина — это самый лучший сорт салата».

Так писал Чернышевский, перенесший еще одну изнуряющую зиму.

Одиноким и очень больной человек, поставленный в такие условия, которые подвергали его не только медленной моральной пытке, но и физическому уничтожению, лишенный какой-либо медицинской помощи, ведет он напряженную и скрытую от всех борьбу, чтобы спасти себя от гибели.

Из глухого северного каземата он вынужден выписывать с воли научные труды, изучать по ним практическую медицину, самому себе ставить диагноз, назначать лечение, выписывать лекарства, при этом переводить для жандармской цензуры каждое латинское название на русский язык.

Все это оставалось неизвестным не одним только старикам Жирковым. И не больше других ошибалась Аннушка, говоря о Чернышевском, что он не болел, «так как не видно было, чтобы доктор себе звал».

Маленький спор стариков о внешнем облике Чернышевского окончательно утомил Ладыжку. На последующие наши вопросы он отвечал только бравым и басова-тым «суох», суох», — «нет» и «нет», — старик ничего больше не помнил. Подошла минута, когда его надо было отпустить на покой. И Аннушка не удерживала больше засидевшихся гостей.

Эпизоды Митрофана Михайловича Бубякина

Митрофану Михайловичу Бубякину было семьдесят пять лет, когда мы встретились с ним. С виду он был рыжевато-русый бедовый мужичок. В то время в Вилюйске знали его как отца расстрелянного белыми учителя — коммуниста Макара Бубякина да еще как городского водовоза. День-деньской можно было видеть его — неутомимого и немерзнущего — с упряжкой на дороге, ведущей к реке; то он вез кому-нибудь бочку воды — для сегодняшних, текущих нужд, то сани, нагруженные ледовыми брусьями, — тоже питьевую воду, но заготавливаемую впрок.

Когда-то Бубякин служил казаком и шесть лет был караульным при Чернышевском, а в его давно умершего старшего брата Семена стрелял известный Ипполит Мышкин, убегающий от конвоя...

В июне 1875 года к городку Олекминску приплыл по могучей Лене в утлой лодочке, удивив обитателей городка, никому не ведомый путник.

На вопросы олекминцев, кто он и зачем сюда попал, он отвечал, что хочет заняться торговлей и приехал ознакомиться с краем.

С двумя попутчиками-татарами, отправлявшимися куда-то под Сунтар, он выехал в

вилюйскую тайгу. Когда, уже подъезжая к Сунтару, попутчики его свернули в сторону, он на ближайшей остановке вдруг переделся жандармским офицером и уже продолжал путь в форменном плаще из серого драпа с мерлушковым черным воротником, в форменной фуражке, в мундире с серебряными аксельбантами и с портупей.

Начиная с Сунтара он появлялся перед властями, сияя погонами и пуговицами, гремя шпорами и саблей. Поручик корпуса жандармов Мещеринов, как называл себя путник, ехал по особому поручению в Вилюйск и требовал незамедлительно лошадей.

Это был Ипполит Мышкин, революционер-народник, человек исключительной отваги и силы воли. Солдатский сын, обучавшийся в школе кантонистов (так назывались при крепостном праве школы для солдатских сыновей), а затем окончивший Межевой институт, он в 1873 году открыл в Москве подпольную типографию, где печатал нелегальную революционную литературу. Когда типография провалилась, Мышкину удалось бежать за границу, в Женеву.

Очутившись в среде революционной эмиграции, Мышкин очень скоро понял, что после смерти Герцена русский революционный лагерь остался без вождя. «Только Чернышевский, неизвестно где находящийся в заточении, сможет возглавить разрознившиеся революционные силы», — так рассудил Мышкин и принял решение вернуться в Россию, освободить Чернышевского и вывезти его за границу.

Больше года потребовалось на то, чтобы подготовить поездку в Сибирь, завязать связи и разведать, где же находится в заточении Чернышевский, — это держалось еще в строжайшей тайне, — а затем, уже в Иркутске, разработать план освобождения узника.

И вот в июле 1875 года Ипполит Мышкин, он же жандармский офицер Мещеринов, пробирался вилюйско-ю тайгой. В напряженной сосредоточенности совершал он этот путь: малейшая оплошность могла погубить все дело.

12 июля 1875 года Мещеринов достиг города Вилюйска. Он предъявил исправнику предписание иркутского жандармского управления о выдаче ему, Мещеринову, Николаю Чернышевскому и об оказании содействия к сопровождению последнего во вновь назначенное ему местожительство — Благовещенск.

Однако офицер, прибывший без обычного казачьего конвоя, без подорожной, в бумагах которого имелись нарушения официального стиля, вызвал подозрения у вилюйского исправника.

Исправник отказался выдать узника без предписания якутского губернатора, предложив офицеру Мещеринову следовать в Якутск в сопровождении казаков для выяснения всех обстоятельств.

Ипполит Мышкин понял, что настаивать бесполезно, что это только усилит подозрения исправника. На пути же в Якутск он надеялся убежать.

В сопровождении казаков отправился он семисотверстным таежным трактом в Якутск. Верст двести не доезжая до города, он вдруг свернул с дороги, открыв огонь по казакам, и ранил Семена Бубякина. Это удержало казаков от дальнейшего преследования. Однако якутские власти организовали поиски беглеца, издав приказ изловить его живьем. Заблудившийся в тайге, Мышкин был вскоре пойман¹.

Так неудачно кончилась эта смелая попытка увести Чернышевского из Вилюйска.

...С Митрофаном Михайловичем мы встретились в его новом доме, где он жил вместе с семьями своих взрослых образованных сыновей.

До глубокой старости деятельный и хозяйственный, старик отличался от стариков Жирковых.

В своем рассказе он избегал общих описаний и больше останавливался на отдельных памятных для него случаях. И действительно сообщил несколько неизвестных ранее маленьких эпизодов из ссыльной жизни Чернышевского, а о некоторых других, известных, — рассказал любопытные подробности.

— Один раз заблудился он, всю ночь проблуждал, пока не дошел до какой-то юрты.

Верст за пятнадцать до «Бясь Келя»¹ прошел он. Оттуда уже наутро привели его.

Митрофан Михайлович начал свой рассказ с известного случая, который произошел с Чернышевским, но тотчас же сообщил совершенно новые подробности.

Тревогу подняли, послали на поиски, а часовых все же к острогу на ночь приставили.

А утром пришел он пешком с якутом и рассердился: «Вы кого караулите? Стены пустые стережете?» Такой нагоняй дал и уряднику и жандарму! Они-то хотя и властвовали над ним, а все же побаивались...

Эпизод этот метко передает одну из отличительных особенностей характера Чернышевского: не терпевший ничего нелепого и неразумного, он действительно мог обрушиться на своих тюремщиков, карауливших пустой острог.

— Когда рассердится, все его боятся, — продолжал старик. — Один раз к нему губернатор приехал из Якутска, тот, что после Светлицкого был, — сумасшедший и плешивый. «Чернышевский дома?» — спрашивает, подъехав к острогу. А он в ту пору стоял у себя в камере и молоко кипятил с угольком. Губернатор с хода прямо в

камеру, со звоном всей амуниции. А Чернышевский взял губернатора за глотку, да и вытолкнул обратно с порога и на крючок захлопнулся. За это его на семь суток заперли.

Здесь 'старик явно преувеличил: Чернышевский действительно не допустил к себе губернатора, захватившего в Вилуйск и пожелавшего навестить узника, но столь резкого столкновения между ними все же не произошло.

'«Бясь Кель» — «Озеро в сосняке».

Вероятно, то, что в воспоминаниях Жирковой справедливо разделено было на двоих — на губернатора и на исправника: одного Чернышевский не впустил к себе, а другого выставил пинком из камеры, то в памяти старика Бубякина слилось воедино. Но, передавая неточно отдельный факт, Бубякин остался верен сути дела.

Известно, например, донесение жандарма Ижевского о том, что 14 июля 1872 года, в первый год ссылки, Чернышевский стал ломать железными щипцами замок, повешенный на воротах острога.

Впрочем, в ту пору Чернышевский находился в состоянии крайнего душевного напряжения, потрясенный внезапной высылкой в Вилуйск. А тут еще по произволу властей жандарм навешивает замок на дверях острога, превращая «квартиру» сыльного в настоящую тюрьму. Казалось, самообладание покинуло Чернышевского. Фантазии трусливого жандарма уже рисовалось умопомешательство узника, он доносил, будто Чернышевский «выражал» в разговоре с ним какие-то непонятные слова и при этом «трясся, как бы подвергнувшись полному умопомешательству».

Сопrotивляясь тому, чтобы «дом», в котором он был помещен, был заперт на ночь, он вынуждал показать «письменную бумагу» на этот счет.

Можно представить себе, что одно требование узника показать ему письменное приказание о новом допущенном властями беззаконии могло показаться жандарму умопомешательством.

Но, по всей вероятности, дело заключалось не в душевном состоянии Чернышевского, а в сознательном в данном случае третировании Чернышевским жандарма.

Чернышевский, как известно, не обрушивал своего гнева на низший тюремный персонал, и его отношение к Ижевскому было вызвано особой причиной. Ижевский препятствовал Чернышевскому встречаться с его бывшими товарищами по каторге Шагановым и Николаевым, которые проездом через Вилуйск к месту своего поселения задержались здесь из-за распутицы. От Шага-нова же и Николаева Чернышевский мог узнать, что Ижевский именно тот самый унтер-офицер, в дежурство которого бежал из иркутской тюрьмы Герман Лопатин, тайно приезжавший, подобно Ипполиту Мышкину, в Сибирь, чтобы освободить Чернышевского. Этого жандарма, знавшего в лицо Лопатина и, вероятно, поэтому присланного властями в Вилуйск, Чернышевский, может быть, хотел любыми средствами удалить от себя.

Известно также по жандармскому кондуктскому журналу, что «за написание на предписании господина Якутского губернатора за № 201» крайне резких выражений Чернышевский был лишен в 1876 году права выхода за ворота тюремного замка на трое суток. Известны самые резкие его столкновения с исправником Третьяковым, происходившие уже в 80-м году, и до конца ссылки сохраненная Чернышевским нетерпимость к одному виду человека, одетого в казенную форму.

Известен, наконец, самый неуважительный в отношении к высшим властям поступок вилуйского узника — его отказ подписать прошение о помиловании на «высочайшее имя».

Проявляя будто бы снисхождение, правительство послало однажды генерал-губернатору Восточной Сибири бумагу, которая позволяла намекнуть Чернышевскому, что он может надеяться на освобождение из Вилуйска, а со временем и на возвращение в Европейскую Россию, если он подаст прошение о помиловании. Так петербургские верхи рассчитывали получить от Чернышевского компрометирующий документ, чтобы потом изобразить его сдавшимся, сложившим оружие и уничтожить его революционный авторитет.

С этой целью летом 1876 года был командирован в Вилуйск адъютант генерал-губернатора полковник Винников.

Адъютант застал вилуйского пленника в беседке из тальников с дерновыми диванчиком и столом, сооруженной им на берегу озера, на той самой поляне под острожным обрывом, где он часто занимался «освобождением мелких плененных вод».

Адъютант увидел человека в сером халате, с непокрытой головой, с сухощавым бледно-желтоватым лицом, с морщинами на широком лбу. И этот человек, когда ему со всеми предосторожностями было сообщено о цели приезда адъютанта и предъявлена бумага, излагавшая сущность поручения, ответил с невозмутимым спокойствием:

— Благодарю вас, но, видите ли, в чем же я должен просить помилования? Это

вопрос... Мне кажется, что я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер,— а об этом разве можно просить помилования?! Благодарю вас за труды, — повторил он. — От подачи прошения я положительно отказываюсь.

А затем, уже в стенах каземата, давая расписку в прочтении документа, он снова просмотрел бумажку, сулившую ему освобождение, и четко и коротко написал на ней: «Читал, от подачи прошения отказываюсь. Николай Чернышевский».

И покатилося из Вилуйска оскорбительное «нет» ко всем высоким властям, достигнув и императорской особы.

С той минуты словно еще более высокая и глухая стена сомкнулась вокруг Чернышевского в вилуйском его заточении.

— И к нам большую строгость имел, — продолжал свой рассказ Митрофан Михайлович. — У казака, знаете ли, на папахе красное доньшко имелось. Чернышевский, хоть он и не шибко хорошо видел, а эту отметинку всегда приметит: тогда и смотреть не хочет — пройдет мимо, как ножницами прострижет. А когда мы в частной одежде, подходил, бывало, заговаривал. Сами-то мы не смели, да и от старших указание имели — не беспокоить его с этим. Так вот помнится: мы снег за оградой разгребали. Подошел он и стал помогать. Шутлив был и со снегом позабавился. Нагребет лопатку, сбросит на сторону врассыпку и скажет вдогонку: «Так его!» И сам засмеется. Глядя на него, и из нас кто тоже: «Так его!» выкрикнет и тоже засмеется. Словом, разогрелись, как побились с кем. Отдыхать стали. «Вот как вас обижают,— сказал он: — за два пуда хлеба да за пятьдесят копеек (жалованье казачье такое было) ночами стоите и днями работаете. За что же вы служите?» — «Куда же нам идти, некуда», — ответили ему. Тогда ржаная мука в высокой цене была, по два рубля за пуд платили: всего два паузка приходили в город — один купеческий, другой казенный: бурлаки на лямках тянули. «Обижает царь молодцов своих», — заметил снова Чернышевский. Он нас «молодцами» звал, — заключил старик свое маленькое



повествование, в котором так и слышался бодрый, заражающий смех Чернышевского. Необыкновенной душевной молодостью веяло от всего этого эпизода.

Нашлось место в рассказе памятливого Митрофана Михайловича и замечательным словам об освобождении мелких вод, которые внезапно припомнились дряхлому Ладыжке.

Само выражение: «Мелкие воды выпускаю, пусть, как я, не остаются в заключении, а идут в реку», — как оно запомнилось Ладыжке, вспомнилось Бубякину в ином несколько варианте:

«Как я, такие же арестованные воды выпускаю».

И сказал их будто бы Чернышевский рабочему Ели-сейке, который занимался в те времена выделкой кирпичей там же, под осторожным обрывом, где Чернышевский

выпускал в реку лужи и озера.

Однажды, как рассказывал Митрофан Михайлович, Елисейка пришел на работу и не обнаружил поблизости воды, столь нужной в его производстве. Он решил, что это дело рук Чернышевского.

— Зачем же мою воду выпустил? — горестно спросил кирпичник виновника своей беды.

И услышал от него объяснение, которое, как видно, запало и ему в сердце и всем, до кого оно доходило потом, став уже вилюйским преданием.

Теперь трудно установить полную достоверность этого случая, но он вполне правдоподобен, если принять во внимание, что неудачи в мелких практически-житейских делах нередко преследовали Чернышевского. История с водой и Елисейкой очень близка к другому происшествию, также с «озерками», о котором сохранилось свидетельство самого Чернышевского.

«Нынешним летом, — писал он жене в октябре 1876 года, — избрал предметом моих трудов огромную лужу, чуть не целое море, и орудием для «борьбы с природой» — ныне в моде у ученых «борьба с природой», — ...я взял лопату. — Река сбыла; лужа отделялась от реки грядой песка в несколько сажень ширины; вода в луже стояла почти вровень с этим валом... берег в том месте — крутой песчаный откос. Внизу откоса полоса плоского побережья, очень узенькая: гут ходят люди, когда вода в реке низкая. Другой возможности пройти вдоль реки нет: выше крутого песчаного подъема непроходимый кустарник. — Предвидишь ли, что вышло? — Я не предвидел».

А вышло вот что: едва Чернышевский прорыл в одном месте песчаный перешеек, вода схлынула. Он восхищался точностью своего расчета, и наблюдатели тоже похвалили его. А через несколько дней, когда прошли дожди, на этом месте вдруг образовалась глубокая канава, прорывшая берег. Всякий путь сообщения вдоль реки прервался. И путники вынуждены были пробираться по круче и грудам хвороста.

Это происшествие принесло Чернышевскому много огорчений.

«Стало мне стыдно перед этими бедняками якутами, — продолжал он описание этого случая. — Но вода сбудет, надеюсь я. И хожу глядеть: сбывает ли; нет, так до самой осени... не было прохода якутам вдоль берега...»

«Подобных эпизодов я делаю довольно много разными моими житейскими искусствами», — заключил Чернышевский, точно оправдывая случай с Елисейкой. Интересовали Митрофана Михайловича и песни Чернышевского.

— Пел, и так-то непонятно пел. По-французски, что ли, — заметил он. —

Прислушивался я, но ни одного словечка знакомого не распознал.

Рассказал старик и о том, как Чернышевский подстерегал на крыльце острога восходы и закаты, проверяя часы; как доводилось самому рассказчику относить узнику толстые книги в красных «корках», приходившие с почтой. И о том еще помнилось бывшему вилюйскому казаку, какую выгоду приносил казакам проезд или отъезд политического ссыльного: тогда сопровождающие ссыльного казаки получали по семи с половиной копеек суточных.

— Куда какая большая пожива была в сравнении с пятьюдесятью копейками месячного денежного довольствия... — с усмешкой заключил он.

Так закончил свои воспоминания Митрофан Михайлович Бубякин, в прошлом царский служака, приставленный к одинокому пленнику на Вилюе.

О чем поспорили старики

Семидесятилетние старики не могли особенно много вспомнить о Чернышевском-пленнике.

И старик Шибков, которому было именно столько лет в момент нашей встречи и который служил в казаках при Чернышевском всего несколько месяцев, смог сообщить нечто оригинальное только об отъезде Чернышевского.

Он рассказывал:

— Прискакали летом двое жандармов из Иркутска, а в точности — семнадцатого августа. Слышим: Чернышевскому освобождение вышло. И вскоре увезли его¹. Вся городская публика собралась проводить. Подали Чернышевскому верхового коня, но он шел пешком с публикой две версты до озера на якутском тракте. Там шапку снял, со всеми прощался и плакал неимоверно... До первого станка, сказывали, он кое-как верхом доехал, а дальше не смог. Тогда запрягли дровни, положили на них плетеный короб и так повезли в санях по летней поре в Якутск. Вначале ему в Вилюйске носилки соорудили, чтобы его два коня, как в люльке, несли, но здешние кони — дикари, и ничего из этого не вышло: чуть его самого не повредили.

Но эта единственно интересная подробность воспоминаний Шибкова была, может быть, и очень неправдоподобной во всем, кроме одного: Чернышевскому действи-

тельно было очень трудно физически выбраться из Вилюйска. Надо было пуститься в семисотверстный путь верхом по таежным дебрям и топям, так как в летнюю пору нет другой возможности выехать из Вилюйска. И это было совершенно непосильно для пожилого и ослабшего в неволе человека. Речного пароходного сообщения тогда еще на Вилюе не существовало.

По воспоминаниям Кокшарского, бывшего в ту пору помощником исправника в Вилюйске, Чернышевский наотрез отказался ехать верхом и заявил: «Копайте здесь могилу и хороните меня». Тогда администрации пришлось пойти на изобретательство, чтобы выполнить все же приказ и доставить пленника в Якутск. Предложили сперва «люльку», но пленник и на это сказал:

¹ Чернышевский выехал из Вилюйска 24 августа 1883 года.

«Хорош способ, чтобы передняя лошадь меня лягала, а задняя кусала. Не поеду, копайте яму».

Что же оставалось делать? Ходатайствовать об отсрочке отъезда до зимнего пути? Но Чернышевский не хотел ждать ни минуты, он говорил: «Я прожил в Вилюйске одиннадцать лет¹, а если придется ждать еще зимнего пути, то я уверен, что при своем расстроенном здоровье я не дождусь этого». И вот помощник исправника придумал отправить Чернышевского в зимнем экипаже: в санях-дровнях с поставленным на них плетеным коробом. Пара лошадей, хотя и с трудом, могла протащить такую повозку от станции до станции, хотя бы и по песчаной дороге. Правда, в пути предстояло переезжать речки и болота, и низко сидящий короб неминуемо стало бы заливать водой, но ничего не поделаешь...

Решение везти в санях было принято.

Но не один Шибков, а все вилюйские старики, противореча друг другу, каждый по-своему описывал отъезд Чернышевского. Один говорил: «Знали только, что радовался, а что он говорил, то неведомо было: мы издали только видели, как уезжал», другой коротко сообщал: «С двумя жандармами уехал», третий видел будто какие-то проводы, но сообщить каких-нибудь подробностей не мог.

А объясняется это тем, что никто не видел, как Чернышевский уехал из Вилюйска. И вилюйчане, ждавшие расставания с пленником как необычного события в жизни маленького пустынного городка, каждый по-своему придумал сцену отъезда и прощания.

Перед отправлением в путь, по воспоминаниям Кокшарского, Чернышевский будто бы сказал: «Я прожил в Вилюйске одиннадцать лет, все жители относились ко мне хорошо, и я думаю, что они, интересуясь моим отъездом, выйдут поглядеть, как я поеду, ведь тракт на Якутск проходит через весь город».

Из этих слов Кокшарский почему-то понял, что Чернышевский не желал проводов, и начальство приняло решение увезти Чернышевского тайком: отъезд был назначен на двенадцать часов дня, а состоялся в четыре часа утра.

Этот заключительный эпизод описан Кокшарским так:

«...Издали, не снимая шапки, Чернышевский кивнул головой исправнику, сказал: «Ну, прощайте», и сел в сани... Сев на лошадь, я скомандовал: «За мной!», и весь поезд наш спустился под тюрьму, минуя город, а далее по проселочной дороге, выехали на трактовую дорогу в Якутск. Жандармы сначала удивленно посмотрели на меня, но затем поняли, кажется, мою цель, зачем я сделал маленькую окружность, а Николай Гаврилович, когда я ехал рядом с его санями, с улыбкой сказал мне, что «А. Г. по грибы поехали». Я промолчал, конечно, и Николай Гаврилович понял, для чего все это было сделано. Все время, пока я ехал рядом... он любовался побегом моей лошади... Отъехав от города версты три, я остановил поезд, получил от жандармского унтер-офицера квитанцию в приеме путешественника, а затем подошел к саням и, пожелав Николаю Гавриловичу здоровья и благополучного пути следования, расстался с ним... В день отъезда Николая Гавриловича,— заканчивает Кокшарский описание, — было заметно движение публики в городе, часть ее двинулась к тюрьме, но было уже поздно — в это время Николай Гаврилович, вероятно, был уже верстах в двадцати от Вилюйска. Этот необходимый обман вызвал немало неудовольствия на меня жителей Вилюйска...».

Так, следовательно, внезапно исчез из острожного городка его пленник.

Но, может быть, все проходило не так гладко, как казалось начальству, и кто-нибудь, украдкой совершив запрещенные проводы, заметил и слезы «неимоверные» и коней-дикарей, которые чуть не повредили уезжающего из неволи пленника.

Предание о буйной купчихе

Воспоминания о вилюйской купчихе Евпраксии Гавриловне Карякиной неразрывно связаны с воспоминаниями о Чернышевском-узнике.

У этой женщины Чернышевский столовался почти все двенадцать лет своего

вилюйского заточения. Ежедневно встречая его, она больше, чем кто-либо другой из обитателей городка, могла быть запросто с ним. И со стороны Чернышевского она пользовалась, кажется, наибольшей симпатией среди знакомых вилюйчан.

У самого Чернышевского мы встречаем только два упоминания о ней: в одном из ранних писем из Вилюйска, рассказывая о своих хлопотах с устройством обедов, он упоминает о Евпраксии Гавриловне под именем «доброй хозяйки», а в другой раз — через полтора года — он шутливо сообщает: «... сбылось невозможное: добился того, что почтенная женщина, готовящая мне обед, не кладет коровьего масла в суп. Такова сила моего красноречия; в полтора года убедил».

О вилюйских купцах того времени он писал:

«И купцы эти! Один между ними — богач; такой богач, что по всеобщему убеждению «может купить весь город со всем округом» — подлинное выражение жителей. Этот купец сам ухаживает за своим скотом; на его жене платье, какое постыдится надеть горничная в Петербурге или хоть бы и в Саратове. Едят один раз в сутки. — Скряжничество? — Нет; дело проще и хуже скряжничества: первый здешний богач считался бы человеком бедным в каком угодно русском городе».

Неизвестно, о чем беседовал Чернышевский с пожилой хозяйкой, но едва ли он мог касаться в них серьезных вопросов.

И все же личность царского пленника оказала, по-видимому, необыкновенное влияние на эту простую, отличавшуюся очень прямым и решительным характером женщину, которая упоминается в одном дореволюционном мемуарном сообщении как сердитая старуха Карякина, которая отказывалась рассказывать что-либо о Чернышевском. Черты ее характера оживают в одном очень любопытном вилюйском предании. Случилось, что вскоре после отъезда Чернышевского из Вилюйска купчиха Карякина вдруг объявила бунт. Еще раньше Евпраксия Гавриловна возненавидела попов, отказалась крестить детей, так и растила их некрещеными. Когда же вилюйские купцы, торговавшие вначале у себя на квартирах, развернули свои дела и стали быстро богатеть, в один прекрасный день она заявила мужу:

— Скоро у вас магазинов этих не будет, прогорит ваше дело.

И потребовала от него, чтобы он прекратил торговлю.

— Ты сам своим трудом наживи, попробуй! — говорила она.

Когда же убедилась, что слова ее не действуют, развелась с мужем-купцом. Разделила с ним детей и стала жить самостоятельно, занимаясь небольшим хозяйством.

Однажды, рассказывая вилюйчане, заехал в Вилюйск губернатор и потребовал к себе для какого-то объяснения старуху Карякину, и она обошлась с ним со свойственной ей грубоватой прямоотой.

Существует также предание, что с того времени, как Карякина объявила «бунт», она ни с кем посторонним не разговаривала и была очень строга; а придет политический ссыльный — и привет окажет и на стол все поставит: кушайте, мое добро.

В те времена в город часто заходили из тайги вконец обнищавшие бедняки — якутские нищие, «саночки». Они бродили с маленькими салазками, на которые складывали полученное подаяние. Увидев такого бедняка, «сердитая» старуха непременно зазовет его к себе и скажет: «Есть хочешь — ешь, спать хочешь — спи». Обогреет обездоленного человека и тогда уже отпустит, накинув на него какую-нибудь одежку.

Этим исчерпывалось вилюйское предание о Евпраксии Гавриловне, о которой в Вилюйске говорили как бы поговоркою: «Ненавидевшая попов и урядников, жена купца, что от мужа отрелась и дружбу водила «с госу-дарскими»¹.

Так вдруг повела себя женщина, долгие годы встречавшаяся с Чернышевским-пленником.

По воспоминаниям детства

Однофамилица Евпраксии Гавриловны, Евдокия Даниловна Карякина, урожденная Кондакова, была самой

¹ Так местные жители называли политических ссыльных (от выражения «государственный преступник», как официально именовались осужденные революционеры).

младшей среди вилюйских стариков, помнивших Чернышевского. Для нее Чернышевский был воспоминанием детства.

Белая как лунь, она внимательно присматривалась к собеседнику, когда мы вели с ней разговор; глаза ее, сидящие глубоко, смотрели светло и ясно, и рассказывала она, добродушно посмеиваясь.

Она помнит себя маленькой девочкой Дуняшей. Тогда она жила на дворе вилюйского острога, в караульной казарме, у своего брата, который прислуживал жандармскому унтер-офицеру. И вилюйский пленник вошел в ее детство добрым дяденькой, которого

почему-то одним-одинешеньким держали за высокими стенами, запирали в большом остроге на замки и с оружием сторожили, точно он был злодей.

А он был простой и смиренный.

Помнит, она собирала однажды щепки для самовара на дворе острога. Он подошел, стал помогать ей, на корточках присел и живо нагреб полную корзину.

Даже страшно стало: так близко наклонилось над ней лицо его с продолговатой куделистой бородкой; с улыбкой смотрели глаза его из-под очков. Непонятный такой, чудной дяденька. Может быть, он и в самом деле чародей злой и только хитрит, что добрый? Строги глаза его, хотя и улыбаются.

Он же погладил девочку по головке и тихо пошел прочь.

Позже Дуняша привыкла к нему малость, часто ви-дела, как он проходил мимо нее, отправляясь на прогулку, — уходил за стены острога, брел по пустынным



улицам городка, мимо плохоньких домишек, мимо карточек и удалялся по тропинке в тайгу. И, что удивительно, все-то он с песнею ходил. Как появится, так и скроется, тихо напевая.

Словно каждый раз уносил он с собой из острога по песне и выпускал их на волю в зеленых таежных чашах.

Иногда пройдет и угостит Дуняшу конфеткой, а то несет из тайги ягоды — смородину красную или бруснику — и тоже с нею поделится.

Бывало, услышит Дуняша, как пленник выходит из своей казармы, побежит и ребят — своих друзей — позовет: «Дяденька Николай идет!» И они все вместе спрячутся где-нибудь и притихнут, чтобы поближе посмотреть на него.

И он пройдет совсем рядом с ними, думая, что находится наедине со своей песней.

Слушают ребята, и, как ни навостряют уши, один напев долетает к ним, а слова — какие-то особенные — остаются непонятными.

Позже, когда Дуняша подросла, родные взяли ее с тюремного двора, а вскоре и замуж выдали. Другие заботы окружили ее, и жить она стала поодаль и от острога и от тропинок, по которым хаживал добрый дяденька.

Жизнь шла своим чередом, маленькие стали большими, и одинокий дяденька постарел прежде времени, одно только оставалось неизменным: его всё держали и держали в неволе.

Но, с тех пор как Дуняша выросла, она почти вовсе его не видела, и он навсегда остался воспоминанием ее детства.

Так рассказывала Евдокия Даниловна про Чернышевского, вилюйского пленника, и про себя, девочку Дуняшу. А затем вдруг добавила:

— И мотив-то, каким пел он, позабыла теперь! А ведь долго помнила и иной раз напевала про себя! ¹

Этим исчерпывались воспоминания вилюйских стариков, которые знали когда-то Чернышевского.

Истекал двенадцатый год вилюйской неволи. За это время не один раз распространялись слухи о трагическом конце Чернышевского: о его смерти в далеком Вилюйске, о том, что он лишился рассудка, не перенес тягостей заточения.

Тщетны были призывы передовых людей страны и многократные обращения родных Чернышевского к правительству о смягчении его участи — царь Александр II был неумолим: он видел в Чернышевском своего заклятого врага.

Произошли перемены только после смерти Александра II.

Царь Александр III, опасаясь террористических актов во время предстоящей коронации, вступил через посредников в негласные переговоры с Исполкомом подпольной революционной организации «Народная воля» об изменении участи Чернышевского, о переводе его из Вилюйска в Европейскую Россию. В конце мая 1883 года последовало «предварительное соизволение» Александра III «на перемещение Чернышевского под надзор полиции в Астрахань, с тем чтобы по пути следования не делать ему каких-либо оваций». И вот снова спешно и тайно жандармы увозили Чернышевского из Вилюйска. В Якутске Чернышевского подвезли прямо к губернаторскому дому; губернатор любезно встретил отъезжающего узника, угостил его обедом, окружил вниманием. И только при отъезде с торжественного обеда, когда Чернышевский убедился, что перед снаряжением в дальнейший путь ему не разрешают даже на минутку заглянуть на постоялый двор, он понял истинное значение губернаторской «любезности»: его везли так, чтобы не показывать ни одному постороннему глазу. Уже садясь в повозку, Чернышевский вдруг спохватился и заявил, дав повод какому-то обывателю усомниться в его рассудке: — Надо было б к губернатору вернуться, рубль, что-ли, ему за завтрак дать. Чернышевского везли по особой инструкции под именем «секретного преступника № 5», и повсюду впереди него летела шифрованная телеграмма о сохранении в строгой тайне его проезда для предупреждения «нарушения общественного порядка». Физически измученный, он выходил на волю духовно несломленным борцом.

ЮРТЫ НА КРАЮ

Из Вилюйска мы совершили поездку на знаменитый на всю Вилюйщину Мастах — обширное лесисто-озерное плато, лежащее за рекой, севернее Вилюйска. На его поверхности, пожалуй, больше воды, чем суши. В недавнем прошлом это был заповедный край, обитатели которого вели, может быть, самое скудное на всем земном шаре существование. Именно отсюда когда-то приходили в город люди, один вид которых, как писал Чернышевский, мог смутить даже самую закорюзлую душу. И после революции здесь дольше, чем где-либо, Мастахские юрты, лежащие на отлете, еще только пробуждались. Нашим спутником и переводчиком в этой поездке был старейший учитель и вообще один из старейшин Вилюйска Петр Хрисанфович Староватое, о котором мы упоминали, рассказывая о вилюйской баррикаде. Прожив на Вилюйщине около сорока лет, он прекрасно знал ее и был горячим патриотом своего края. Понимая всю меру отсталости здешней жизни, он верил в богатую ее будущность и быстрый ее прогресс. В частности, он был уверен в нефтеносности вилюйской земли. Может быть, в этом он ошибался, но то, что он в основном не обманулся в своих надеждах, подтвердилось в наши дни открытием месторождений алмазов в верховьях и по среднему течению Вилюя и вилюйского газа — в низовьях. Помнится, как на первом ночлеге в этой поездке нас угостили обитатели юрты отварными карасями. Их обычно варят здесь, очистив от чешуи, но непотрошенными. Мы принялись старательно вспарывать брюшки и вычищать их. Петр Хрисанфович некоторое время молча следил за нами из-под очков, а затем вдруг заметил: — Напрасно стараетесь, товарищи. Самый, можно сказать, витамин выбрасываете. Не подумайте, что люди не догадались выпотрошить. Местные жители знают, что делают. — И, как бы в назидание, он кусочком лепешки подгреб у себя на тарелке зеленоватую кашу из желудка карася и все вместе направил в рот. — В условиях севера, знаете, нельзя ничем пренебрегать. Слушая рассказы о жизни мастахцев, о каких-нибудь их новых делах, он обычно говорил: — Какой же ты молодец, Николай! Какие вы все туг молодцы, смотрю я! Старайтесь, старайтесь... Постепенно всего добьетесь! Он знал, что людей здесь прежде всего надо ободрить. — Мастах-то, смотрите-ка, — говорил он, услышав о первых опытах хлебопашества мастахских колхозов, — считался совершенно неземледельческим, не рождающим хлеба, а вот стали сеять и получили хороший урожай... Только зимой выковывается на Мастахе цельный массив, изо льда, летом же его бесчисленные озера и топи отделены друг от друга лишь небольшими лесными перемычками. Зимний путь здесь втрое короче летнего благодаря возможности проехать напрямик по ледяной глади озер.

Мастахские юрты очень немногочисленны, так как крайне скудны здесь природные ресурсы для существования человека; здесь, можно сказать, проходил рубеж последних оседлых поселений. И якуты, в большинстве своем скотоводы, на Мастахе скорее рыболовы и охотники.

Знаменитые льва и сьма — еда из проквашенной мелкой озерной рыбешки, — только так можно было заготовить ее впрок (при отсутствии соли)—и похлебка или каша из накрошенной или натолченной листовничной заболони¹ имели на Мастахе самое широкое распространение и спасали людей в долгую изнурительную зиму.

Соль, первые горсти муки, первые метры ткани, стекло появились здесь лишь в советские годы.

Спустившись по крутому склону от городка к реке, мы очутились среди хрустальных стен вырубленного льда, излучающих нежное зелено-голубое сияние. Льдины эти распилят на длинные бруски и свезут в город, уложив штабелями возле домов, как складывают поленницы дров: заготовят на долгую зиму питьевую воду.

Сани легко и бесшумно скользят по двухкилометровой шири речной долины.

Сумерки сгущаются. Дорога за рекой идет сперва путаным побережьем — болотной урёмой, где сквозь снег торчит высокая порыжевшая осока, бугристыми перемычками, продолговатыми озерками, постепенно вступая в тайгу и забирая на подъем.

Дальше и дальше — тайгою, озерами, речками, по волнистым холмам — на Мастахское озерное плато!

Вот и первая встреча. Снега и сосняки освещены — так кажется — голубым пламенем.

Приближаемся: распряженные нарты, красный пучок костра, озаряющий воздушно-легкий, как лебяжий пух, первый снег. Люди строят шалаш из молодых, только что срубленных сосенок. Располагаются на ночлег.

Это обоз с мукой идет на Мастах. Нарты тяжело нагружены, и олени пристали уже вскоре после выезда из города.

Из лесного сумрака, из-за сосен выходят на свет отпущенные пастись олени.

Удивительно наблюдать их вблизи костра, как осторожно и деловито проходят они среди нарт, спокойно рассматривая хозяйничающих людей.

После первой ночевки и еще одного дня пути останавливаемся в местечке Эндирян. Входим в юрту и сразу заполняем собою всю свободную площадь; негде раздеться и расположиться — настолько тесно это жилище.

Но вот разобрались и вышли на свет камелька. Он поставлен в этой юрте почти в самом центре и, можно сказать, не «в фокусе»: жар его разлит до самых стен, он всюду опалает, и только уголок позади камелька — в тени и холодке.

Тесная, но чистая и хорошо обжитая юрта, весь хозяйственный инвентарь ее поблескивает, подобно начищенному и отточенному оружию. И льдины в окошках вставлены тщательно и проконопачены. Под потолком, на особых жердяных полках, — алюминиевые тазы, полотенца из вафельной ткани, чистые матрацы, недошитые ватные стеганые куртки, утюг, швейная машинка; в кухонном углу — свежие пучки мочала.

Здесь живут хозяин юрты — крепкий и рослый мужчина, его жена, девочка — их дочь, и старик — отец хозяина.

Хозяин готовится к отъезду в извоз, с грузом на промышленный Алдан.

За чаем вприкуску с карасями разговариваем о местном хозяйственном укладе.

— Пушнина у нас невыгодна, — говорит молодой хозяин, — овчинка выделки не стоит; за одной белкой десять дней проходишь. Уходим на белкование в приленскую тайгу и за Лену. На месте же в хозяйстве у нас основное — животноводство, оленеводство, рыболовство. Старик вставляет словцо — о рыболовстве:

— Лучшая наша рыба — карась. Карась — кормилец. Ставлю летом сеть, вынимаю — пуд, полпуда, на худой конец — десять фунтов. Всего у меня до сорока сетей.

Осматриваю и вынимаю их через пять дней. Каждому якуту, — заключает он, — надо по десять пудов рыбы в год.

Молодой хозяин переводит разговор на оленеводство в полосе сосновых боров между Вилуйском и Мастахом, богатой мхами.

— Сейчас в этих местах пасется тысяча оленей. А корма здесь для большего стада.

Питается наш олень летом грибами и особой травой на местах лесных пожаров, а зимой — мхами сосняков.

Петр Хрисанфович заводит разговор об озерном сиге — бранатке, водящемся лишь в отдельных мастах-ских озерах:

— Надо пустить мальков в озера, дать подрасти им, а карасей и тем более мелкую рыбешку поубавить. Тогда мастахцы вот бы как зажили! ..

Расстилаем постели. Эта юрта похожа на усеченный конус древнего якутского жилища из бересты — урасы, — стены ее наклонены под углом почти в шестьдесят градусов. Укладываемся на постенных скамьях, лежим под покатым навесом стены, как бывает в полотняной палатке; так же наклонены над головами, словно огромные линзы, перламутрово-синие льдины окошек.

Все уже улеглись, один камелек продолжает полахать, потрескивать, шевелиться, подобный живому существу. Чувствуется, как стужа, словно тонкими лезвиями, пронизывает слабую бревенчатую оснастку юрты.

В начале зимы у камельков всех мастахских юрт стоят наготове котлы и ведерки с кипящей водой, в них варится очередная порция карасей. Это лакомое дежурное блюдо.

Ворохи мороженных карасей насыпаны во дворах и в сенцах каждой юрты. Иногда рядом с ними чинно разложена в один ряд сизо-белая бранатка — лучший сорт здешней рыбы. Но это уже, можно сказать, драгоценность Мастаха.

В пору первых стуж, когда еще не очень глубоко промерзли озера, повсюду по Вилюю и в особенности на озерном Мастахе в разгаре зимняя неводьба, подледный лов рыбы. Проезжая мимо озер, люди говорят: «Вот где мы еще погуляем, побудем вместе, услышим новости и возьмем добычу».

Опытные рыбаки строят свои хитрые планы нападения на мирные карасиные царства; девушки видят во сне белоснежное озерное поле и на нем, среди веселого многолюдства, того ловкого скороходного парня, который вдруг понравится больше всех остальных; женихи снаряжаются на неводьбу в поисках невесты.

Рассказывая про свою жизнь, якутские женщины часто вспоминают зимнее озеро как место, где решилась их девичья судьба.

Непреренно услышишь про неводьбу и в рассказах о первых таежных смельчаках, которые еще в старинные времена именно здесь, на народе обличали богачей.

Пожалуй, это самое привольное время на Мастахе: только что собраны летние запасы на всю долгую зиму и вот еще из-под льда извлекается озерное золото — вороха красноперых, золотых карасей.

Весь студеный зимний день длится работа людей, собравшихся неводить на том или другом озере. Стемнеет, зажгутся звезды, прежде чем невод, спущенный в одну прорубь и искусно проведенный подо льдом, будет вытаскен через другую прорубь, в другом конце озера.

Вот уже добыча разделена, и тогда начинается торопливый разезд — к юрточкам, к жарким камелькам, к горячим котлам.

Стужа крепнет с каждой минутой. Санный скрип разносится среди глухой ночи, будто приставили к точильному камню длинное и тонкое лезвие.

Едут к родным домам, но прежде всего — до привала в ближайшей юрте.

И вот найдена эта юрта, радостная одним своим благодным теплом.

К тому же ведерный самовар уже закипает у камелька.

На просторном шестке камелька нанизываются на вертелы караси. Недавно они, извлеченные из озерной глубины, каменели на стуже, теперь их опалает открытое и жаркое пламя. Рыбы ожили в тепле, пока с них наспех счищали чешую, и запекаются, шевеля плавниками.

Все жадно глотают обжигающе горячий чай, закусывая свежими порциями испеченных карасей.

Как-то на привале после неводьбы услышали мы у одного камелька старинную мастахскую побывальщину. Судя по ней, даже Сунтар с его относительным луговым привольем представлялся людям Мастаха сказочно богатым.

Сказ про бедного рыбака Прокопия

В простом рыбацьем шалаше — коломо — жил бедный рыбак Прокопий. Надоело ему мучиться, вот и задумал он жениться на дочери богача. Обошел он соседей и у одного одолжил нарядные сани, у другого — справного коня, у третьего — медвежью полость, а у четвертого — шапку из лисьих лап и якутский шарф майтрук из хвостов черной белки «колонка», похожей на лису чернобурку.

Так снарядившись, поехал он в дальний Хойнский улус в поисках богатой невесты.

Приехал в богатую Хочу и заявился к самому улусному голове.

Видит голова, пожаловал достойный гость, и принял его с почетом. Сидят они, угощаются, ведут беседу.

Стал голова выведывать, что привело гостя в их края.

— Мой отец, вы, наверно, слышали, — говорит Прокопий, — знаменитый вилюйский купец. Умер отец мой, и остался я, единственный сын его, круглым сиротой. В табунах и стадах моих ходит четыреста пятьдесят голов и деньгам счет немалый ведется. Трудно одному мне управиться, — нет у меня верного помощника. Наслышан я про ваш ум, приехал посоветоваться. Что мне делать, скажите?

Речи Прокопия понравились голове, и он сказал гостю:

— Это вы хорошо придумали! Надо жениться вам, вот мой совет.

И поспешил голова к жене.

— Этот гость — сын знаменитого купца. Что скажешь, если ему нашу дочку сосватать?

— Дело хорошее, — отвечает жена. — Но торопиться нам некуда. Хорошенько обсудить надо и у дочери согласие получить...
Но голова не слушает ее:
— Я и сам не глупец. Нечего нам у дочери согласия спрашивать: за жениха богатство его говорит. Такой случай упускать нельзя.
Вернулся голова к гостю, повел речь про свою дочку и намекнул, что сватовство гостя будет принято. А потом и дочку показал.
Увидел ее Прокопий и глаз отвести не может: так с первого взгляда понравилась.
Наутро Прокопий сам уже спрашивает:
— Что ж, время не терпит, голова; хозяйство мое без присмотра осталось. Согласны ли вы за меня дочку выдать?
— Дочь моя согласна, — отвечает голова, — только при вас ли нужные бумаги? У нас священник серьезный и без них венчать не станет.
Хотел голова получше удостовериться: тот ли действительно Прокопий, за кого выдает себя.
— Ну, за этим дело не станет, — весело сказал Прокопий. — Я сейчас к священнику съезжу и все как нельзя лучше улажу.
Приехал Прокопий к попу, все как надо ему сказал. Поп заупрямился:
— Я без справки никак не могу.
— Не выуждайте же меня ехать в такой дальний путь, — сказал ему Прокопий. — Я сумею отблагодарить вас хотя бы такой чернобуркой. — И он высунул кончик своего шарфа из хвостов черной белки.
— Придется уважить почтенного человека, — согласился поп.
Возвратился Прокопий к голове еще того веселей И говорит:
— Мне со священником не трудно сговориться, ему труднее отказать мне. Свадьбу сыграем, и поскорее домой возвращаться.
— Надо и о выкупе условиться, — сказал голова.
— За этим дело не станет. Спрашивайте, что вам угодно. Мне ли с моим богатством дешевый выкуп за жену давать! Не тройками и не семерками же нам считаться, — сказал Прокопий.
— Будем считаться девятками, — обрадовался голова. — Рогатого скота у меня хоть отбавляй. Мне твои кони приглянулись, как ты про них рассказывал. Дашь мне двадцать семь коней, по девятке разных мастей. Было чтобы по жеребцу и по восьми кобылиц всякой масти.
— Вот и ладно, — сказал Прокопий. — А мне лучше быками и коровами взять. Табуны мои уж очень расплодился. Разбрелись косяками по косам и мысам — не собрать, не выловить.
— Но только теперь же назови масти жеребцов и срок укажи, когда их доставишь, — поставил условием голова.
— Я это охотно исполню, — говорит Прокопий. — Будут вам доставлены кони самых лучших и редких мастей. Первая девятка будет золотистой масти, под карася. Вторая — серебристой масти, под мелкую озерную рыбешку. А третья — серебристо-белой масти, под бранатку — озерного сига. По первой зимней дороге будут вам доставлены кони. Теперь, сами знаете, по-ослабли за зиму.
Голове понравились слова зятя.
— Только смотри, чтоб по уговору и точно к сроку, — сказал он.
— Будьте спокойны. Слово купца.
Когда молодые обвенчались и домой собрались, улучил поп минутку и спросил Прокопия:
— Что ж, давай обещанную чернобурку, — и протянул руку к его майтруку.
— Э, нет, — остановил его Прокопий. — Я говорил: такую вот черно-бурую лисицу. А без шарфа мне в дороге нельзя.
Поп был во хмелю и подумал: «Зять головы не обманет».
Отправился Прокопий с молодой женой в путь. Гонят впереди него целое стадо лучшего рогатого скота. Везут за ним сундуки с жениным богатым добром.
Оставили давно позади привольную Хочу, Нюрбу миновали, уж пошли дремучие вилюйские наследи, а дороги все конца нет.
Не терпится жене, спрашивает она:
— Дорогой муж, скоро ли приедем, много ли до дома осталось?
— Скоро, жена, — отвечает наконец муж. — Не больше одной кёси¹ осталось.
Смотрит жена вперед по дороге. Ждет, когда покажутся богатые угодья, когда подойдут к дороге изгороди крепкие, когда завиднеются двory просторные и выглянут коновязи высокие.
И все больше дивится: места пошли вовсе пустые, неукосные, и дороги след теряется. Подъехали они к одному жалкому шалашу. Вылезает Прокопий из саней и жену выводит. Останавливает гурты и возы. Входит за мужем богатая красавица в бедное жилье, какого в жизни не видывала. А сама думает:

«Что-то муж мой перед самым домом отдохнуть захотел?»

Не терпится ей скорее в богатое хозяйство госпожой вступить.

— Дорогой муж, сколько теперь до нашего дома? — снова спрашивает она.

— Вот он, наш дом,— кивнул Прокопий на стены шалаша. — Поскорей-ка раздевайся, за хозяйство берись.

— Такого ли я ждала, о таком ли я слышала! — заплакала красавица.

Прокопий поскорее переоделся, велел батракам-скотникам головы шалаша ставить для скота, а сам схватил пешню да топорик и побежал за водой и дровами. Принес охапку валежника и ведро льду наколот, у камелька поставил.

— Ну, дорогая женушка, не горюй, а берись-ка за работу. С нашей скотинкой мы и в шалаше заживем

1 Кёсь — таежная мера длины; около десяти километров.

славно. Не то что у проруби с неводом сидеть и милости у деда Байяная ¹ просить.

Голод взял свое, и принялась молодая хозяйка стряпать.

Продал Прокопий часть скота и прикупил сена для своих буренушек. Другим необходимым обзавелся. Стали они жить да поживать, стала привыкать дочь головы к рыбацкому шалашу.

Вот пришла весна и миновала, подоспело жаркое лето и сгорело, побурела земля к осени, зимняя дорога легла.

Ждал, ждал голова к себе зятя, так и не дождался, собрался сам в дальний путь.

Приехал, а к тому времени Прокопий уже юрту себе сладил и в нее перебрался.

Еще в дороге смекнул голова, что зять его одурачил.

— Где же твои кони, обманщик? — сразу напустился он.

— Об этом не беспокойтесь, голова. Все будет в точности исполнено. Винюсь, что к сроку не успел: по своим делам замешкался, со своим богатством управлялся, — сказал Прокопий и вышел во двор.

И минуты не прошло, вернулся он с полным тум-таем карасей. Поставил его перед головой со словами:

— Вот выбирайте из этого табуна золотисто-карасиной масти. Но только по уговору — не больше девяти штук.

Снова вышел Прокопий во двор и принес тумтай с самой мелкой рыбешкой. Поставил его и сказал:

— А теперь выбирайте, голова, девять штук серебристой масти.

Сбежал еще раз и принес тумтай с озерным сигом-бранаткой:

— А вот, голова, к вашим услугам серебристо-белая масть.

Три тумтая стояли перед головой.

— Вот мои богатства, голова, — сказал Прокопий. — Весь мой конский скот, табуны всех трех мастей, какие

1 Дед Байянай — в якутских сказках покровитель охоты и рыболовства.

мне в руки даются. Выбирайте по уговору. Всему свету известно, что с меня больше нечего взять.

— Какие же это кони, разбойник!

— Не хулите моих жеребцов и кобылиц, голова! В год дают они по несколько тысяч приплоду. Придет сибирка, весь ваш конский скот заберет, а мои косяки будут спокойно в озере плавать и приплод давать.

...Так, сказывают, ни с чем и уехал разгневанный голова, а Прокопий с женой стали жить да поживать в мире и дружбе.

В пути по самым северным — Жажутскому и Модуц-кому — наслегам Мастаха поздний вечер застиг нас в дороге.

В таежных чашах на полянах все ярче и ярче разгорался лунный свет, когда мы приблизились к жилью.

Над двумя в ряд поставленными трубами поднялись высокие и прямые столбы дыма, подсвеченные снизу вырывающимся огнем.

Это было новое строение кооператива.

Ночевавшие в нем старики сторожа говорят:

— В трех верстах отсюда — школа. Езжайте туда. — И с гордостью добавляют: — Там у нас три дыма вместе поставлены.

Надо сказать, что на Мастахе селение, скажем, в четыре дыма, то есть в четыре дома, — величайшая редкость.

Продолжаем путь и видим: из-за озера бьют в небо снопами искр три трубы одна подле другой. Эта школа—первая на этой земле.

Входим: хорошо заправленные лампы, свежие клеенки на столах, люди — от девяностодвухлетних стариков до юного учителя, пионера строительства школы в этом глухом уголке.

Три трубы, поднявшие высокие столбы дыма в морозное лунное небо, — это три пылающих камелька.

Для школы всеобуча поставлены рядом два опустевших кулацких дома и сложены в

них три камелька. Рядом было начато уже и строительство специального школьного здания и интерната.

В классе, где мы спали на шатких учебных столиках, и в комнате, отведенной под первый маленький интернат для учеников, живущих особенно далеко, было довольно прохладно.

И утром, едва проснувшись, все обитатели школы прежде всего выбежали во двор, как на физкультурную зарядку, и принялись прилежно обливать свою школу из корцов, привязанных на длинные шесты. Бочка с водой была уже привезена с озера.

Это распространенный на якутском севере способ утепления стен обмораживанием, постепенным наращиванием на них толщи льда.

Одетая в ледяной панцирь школа посверкивала в рассветном сумраке.

А едва вершины тайги осветились зарей, повсюду на озере, отделяясь от таежных опушек, стали появляться крохотные движущиеся точки. Это ребята шли из школы. Шли самые первые грамотные люди на этой земле.

До революции во всем Мастахе из коренного населения был единственный человек, получивший школьное образование, — учитель Иванов. Его расстреляли белые в первые же дни своего прихода. А из уроженцев Жахут-ского и Модуцкого наслегов до всеобщего не было никогда ни одного грамотного человека.

Запомнилась встреча в главном мастахском селении Балагаччи, где был расстрелян белыми учитель Иванов и куда первым боевым походом против белых выступали красные бойцы Вилюйска.

Уже на обратном пути в Вилюйск мы смогли здесь задержаться очень ненадолго — оленям предстояла пятидесятиверстная пробежка до ближайших хороших мхов, и ямщик торопил.

Лишь на несколько минут удалось нам заглянуть в стоявший на отлете школьный интернат, в комнатку квартировавшего здесь молодого учителя-якута. Остановившись в Балагаччи на пути из Вилюйска, мы не раз встречали его, торопливого и занятого, но поговорить с ним не удавалось.

Мы вошли в маленькую комнатку. Портреты писателей: Пушкин, Фурманов, Горький. На полках — тома

«Литературной энциклопедии», приметные корешки собрания сочинений Маяковского, разноцветные обложки журналов, комплект «Литературной газеты».

Папки вырезок, материалов. Папки рукописей: стихи.

Молодой хозяин жадно расспрашивал о литературных новостях, торопливо задавал накопившиеся вопросы.

Активный общественник, комсомолец, учитель вдруг раскрылся еще и как поэт. Его литературный псевдоним «Кустуктуров», что означает в переводе «Радугин». С таким понятием многоцветной яркости связывал молодой мастахский поэт свое творчество.

Его корреспонденции и стихи печатались в газетах и журналах Якутска.

Разговор прервался почти на полуслове — ямщик больше не ждал. Мы расстались с хозяином с досадным чувством мимолетности такой интересной встречи.

Оленьи упряжки быстро домчали нас, с одной ночевкой в тайге, из Балагаччи в Вилюйск.

Прошло несколько дней, когда из городка, с высокого речного берега, увидели мы вдруг приближаю-

щуюся с заречной, мастахской, стороны необыкновенную процессию. Одна за другой выезжали из-под крутого берегового ската празднично украшенные подводы. Красные стяги над возами, красные ленты на дугах конских упряжек, красные банты, подвязанные к рогам оленей, — все седое от инея. Но, кроме праздничности, этот караван, казалось, принес в город стужу, собранную со всех пройденных таежных чаш и озер.

Одна за другой проходили сорок подвод. Маленькие кони, покрытые густым инеем, старательно тянули сани, нагруженные кулями с мороженой рыбой, каменно-твердыми тушами мяса, большими, точно мельничные жернова, кругами масла.

Несколько оленьих упряжек, выделяясь ветвистым строем рогов, замыкали шествие. Люди, сопровождавшие обоз, с опаленными морозом лицами, закутанные в одежды с отвердевшими складками, в обледенелые шарфы, шли строго, с парадной выправкой. Они всходили на бугор городского берега, точно поднимались на какую-то вершину своей жизни.

И во главе этой торжественной колонны шагал возле первой упряжки, к нашему удивлению, уже знакомый нам мастахский поэт.

Это был красный обоз, присланный мастахскими колхозами в честь приближавшейся годовщины Великого Октября. Дремучий Мастах прислал свои праздничные дары.

Было приятно пожать руку, уловить улыбку знакомого человека из этой таежной глуши, которая незадолго до того представлялась нам с городского берега неведомой и загадочной, известной только по старинным описаниям.

На митинге, состоявшемся у здания райкома, трибуной для которого послужила одна из подвод, говорились речи о том, что Мастах, бывший самым отсталым, должен стать и станет передовым. И горячая непосредственность этих речей и необычность обстановки, в которой они произносились, заставляли верить, что так и будет. Позже наш молодой знакомый из Мастаха побывал у нас и рассказал о себе. Начальное обучение в первой школе, открытой советской властью в родных ему местах — одном из наслегов верхневиллюйского района, соседнего с Мастахом, но намного более плодородного и хлебом и сеном; раннее увлечение рассказами и песнями якутских народных певцов-олонхосутов; продолжение образования при поддержке родственника — бывшего красного партизана: шесть классов школы, педагогический техникум; досрочный выпуск учителем; в летние каникулы секретарство в сельсовете; первые литературные опыты, первое стихотворение, напечатанное в республиканском литературном журнале «Чолбон» («Утренняя звезда»); активное участие в проведении земельного передела, первые селькоровские корреспонденции; чтение «Чапаева», «Недели», «Железного потока», Пушкина, Гоголя, Тургенева, Беранже, Некрасова, Маяковского, рассказов и статей Горького; новые схватки с классовым врагом при организации первых колхозов; разоблачение тойонских приспешников, прикинувшихся активистами и тормозивших развитие колхозов, и вот наконец — по собственному выбору — учительство и общественная работа на окраинном глухом Мастахе, и эти последние две ночи, взбудораженные и торжественные, которые он про вел без сна, собирая в условленных местах тайги возы первого мастахского красного обоза, — таким был путь этого молодого вилюйчанина. Он женился на неграмотной девушке-сироте, бывшей батрачке, дал ей образование и выучил двоих ее маленьких братишек. Такие понятия, интересы, идеалы воспитал в себе этот юный таежный учитель, который ни разу в жизни не выезжал еще за пределы вилюйских дебрей.

ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ



ы уезжали из Вилюйска тем же семисотверстным таежным трактом на Якутск, по которому в декабре 1871 года привозили Чернышевского в Вилюйск и в августе 1883 года увозили отсюда.

Эта единственная «прямоезжая» дорога из здешних мест в «большой мир» — к берегам Лены — лишь в зимние месяцы удобна для проезда, а в остальные времена года она мало чем отличается от обычной таежной тропы.

На первых ее двухстах с лишним километрах продолжается Вилюйский край. И путь этот в декабрьскую пору, казалось, все глубже и глубже уводил в заколдованный мир снегов, инея, стужи — в какую-то бесконечную и безмерную зиму.

По сторонам дороги изумляющим видением стояла опушенная инеем тайга. Мало сказать: иней. Это была какая-то особая тропически пышная белая растительность. После недавнего снегопада дорога, еще слабо проторенная (к концу зимы ее наглаженные колеи приобретают здесь прочность стали), будто криком кричала под полозьями саней.

Стужа нарастала с каждым днем, и вот уже теплый воздух стал вырываться изо рта с шуршанием, подобно тому как вылетает пар сильно кипящего самовара. Это значит, что перевалило за пятьдесят градусов.

Все живое казалось на таком морозе только что вынутым из кипятка, горячим, дымящимся испарениями.

Загорались, разливаясь в белоснежных чашах, пунцовые, рябиновые, багряные зори, и утренняя, не угаснув, переходила в вечернюю. Солнце не поднималось на горизонте выше вершин тайги, так и оставаясь далеким, словно проходящим над другой планетой. Дни без полдня, казалось, имели только замедленный восход да торопливый закат.

Ночами же эта земля, в которой будто навсегда иссякло тепло, замирала, охваченная студеным зноем.

Два десятка одиноких таежных жилищ, расположенных на протяжении семисот верст этого пути в тридцати — сорока километрах одно от другого, день-деньской отбивались от стужи беспрестанно пылающими камельками, подобные без усталости работающим кузницам; словно они ковали в этой мертвящей стуже самую жизнь.

Некоторые из них, вероятно, стояли еще в то время, когда здесь проезжал

Чернышевский.

Глубже и глубже уводила дорога в мир северной зимы, и путь этот был полон своеобразных, волнующих впечатлений. Мы расскажем только о нескольких последних встречах на вилюйской земле.

На остановке в старинном селении Средне-Вилуйск, именуемом также Хампа и расположенном в глубине дремучего тракта, уже почти на выезде из Вилуйского

края, мы слушали рассказ девяностодвухлетнего слепого старца Прокопьева. Подобно рапсоду древности, он говорил мерно покачиваясь, с расстановками. Старина оживала в его словах.

Но вот его повествование перекинулось к событиям совсем недавним, но также уже ставшим достоянием предания.

— В тасагарцах убили семь человек, — рассказывал старик, припоминая случай за случаем. — В тогуйском наслеге убили девять человек... Еще джамконских пятерых убили... Старика Матыкыя, что приходил в разведку из города, убили и мучили, намотав кишки его вокруг пня... Комсомольца Удюгёй-уола (Удюгейского парня) убили, что убежал от засады под Хохочоем; привели сюда и убили... Тукку Сафронова убили, а с ним и трех его братьев: побоялись, что, оставшись в живых, будут мстить богачу Маччахыя за убитого брата... Нищего — саночника Чук-Николая, что часто приходил к изгороди богача и, прося милостыню, беспокоил его жену, убили... Долго еще звучала эта скорбная повесть о смертях. Старик рассказывал о белых, об их расправе с таежной беднотой. Это было в дни осады Вилуйска, когда в Хампе действовала «следственная комиссия» под руководством местного богача Маччахыя. Едва затихли слова Прокопьева, пришел человек и сказал:

— Там кого-нибудь из приезжих спрашивают. — И он указал на окно, в сторону неподалеку пролежавшей трактовой дороги.

Мы вышли на крыльцо. Бескрайные инеевые чаши, словно налитые стужей, вдруг сверкнули жизнерадостной красотой утра.

Тайга, освещенная по вершинам, стояла в тени, и в снежно-гипсовой ее гущине непостижимо рождались разнообразные нежнейшие оттенки цвета. В дорожной же просеке, уходящей на восток, от холодного пламени поднявшегося солнца, казалось, рдели рубиновые огни.

От этого ощущения тепла и жизни над мертвенными снегами с еще большей остротой вспоминался рассказ слепого старца о бесчеловечно жестокой мести белых.

Все эти казни совершались в такую же зимнюю пору. Такие вот позолоченные в этот ранний утренний час снежные вершины, обращенные к востоку; такие вот пронизанные поднимающимся солнцем просеки видели, умирая, люди, о которых мы слышали рассказ.

Под пригорком, на наглаженных колесах дороги, стояли почтовые сани, а возле них под кружевным навесом березы — весь заиндевший человек.

Издали он кого-то напоминал собой, но вблизи молодое, чисто выбритое его лицо показалось незнакомым.

«Кто это? — мучительно пришлось спрашивать себя в первые минуты разговора. — Да ведь это же Михаил Андреевич из Бютейтаха, в доме которого когда-то мы встречались с людьми «Красного кнута!» — пришла вдруг разгадка. Исчезли его клочковатая борода и усики — вот что, оказывается, сделало Николаева молодым и неузнаваемым».

— Надо было помолодиться, — будто оправдываясь, сказал Николаев и потрогал себя по выбритым щекам. — Школьником, товарищ, становлюсь. Вот какие дела пошли!

— Куда же вы?

— В Якутск!

Он ехал учиться на курсы инструкторов райсовета, вот и расстался с усами и бородачкой — приметой своих сорока лет.

Мы недолго обменивались новостями: почтари нетерпеливо поглядывали на нас. Вот уже они тронули коней.

— Увидимся! — Михаил Андреевич махнул рукой в сторону Якутска, лежавшего за пятисотверстной, скованной стужей таежной далью, и побежал догонять сани.

И после этой короткой встречи пришел еще один человек в дом сельсовета, где мы останавливались, и торжественно сообщил: минувшей ночью на месте бывших владений Маччахыя организовалась сельскохозяйственная артель. Это было важным событием местной жизни.

Мы решили побывать в новом колхозе. И эта поездка по горячим следам жизни неожиданно-негаданно принесла нам еще одно удивительное напоминание о Чернышевском.

На территории бывших владений богача Маччахыя, «командира смерти», как называли его здесь, — в юрте одного из активистов только что сложившейся артели мы услышали рассказ об одной некогда происшедшей встрече с Чернышевским.

Хозяин юрты, Василий Еремеев, рассказывал об этом со слов своего уже умершего отца — Дмитрия.

Эр соготбх (вилюйское предание)

Был тогда Дмитрий Еремеев совсем еще молодым. Не так давно обзавелся он семьей, и две весны подряд ходил он на наследный сход и просил наделить его покосом. Но старшины ему отказывали: все свободные наделы расхватывали богачи для своих малолетних сынков. «Погоди,— говорили ему, — кто-нибудь помрет, и надел освободится».

И раз и другой Дмитрий сильно повздорил со старшинами, а когда ему отказали в третий раз, взял он да и накосил себе сена на одном тойонском лугу.

Его схватили, связали и заперли в темной, холодной избе. В улус отвезли, а потом затребовали в город Вилюйск, на суд к большому русскому начальнику.

Шел Дмитрий, и, хотя на душе у него было тяжело, пел он песню, слагаемую на ходу. Уж совсем недалеко было до города, как повстречался Дмитрию человек. Не иначе как русский начальник шел ему навстречу, запахнувшись в длинную шубу, заложив руки в рукава и опустив глаза к земле.

Дмитрий сошел с дороги, остановился, снял шапку и ждал, пока начальник пройдет. А тот вдруг заторопился, подошел к Дмитрию, снял свою шапку и опять надел. Потом взял из рук Дмитрия его заячий треух и надел ему на голову. Руку ему пожал, по плечу похлопал и пошел дальше.

По простоте Дмитрий подумал даже, что дела его, может быть, будут не так уж плохи, раз начальник ласково с ним обошелся.

И не так уже боязно ему было, когда с лесной опушки впервые в жизни открылся перед ним город — все его высокие дымы, столпившиеся в одном месте. Долго смотрел на них Дмитрий.

Но только вовсе не того человека, которого он встретил в тайге, увидел Дмитрий в большом казенном доме. Большой русский начальник не улыбался, не подзывал к себе, он только кричал и топал ногами.

Дмитрия отвели и надолго заперли за решеткой.

Когда его выпустили, стояла уже весна. Проходя городом, Дмитрий зашел к одним якутам. Он стал расспрашивать их, кто же тот человек, который шел тогда в тайге.

— Тот, кто улыбается якуту, кто здоровается и пожимает руку, — говорил он.

И ему ответили:

— Это Эр соготох.

И слова их означали: «Это Одинокий человек».

— Чернышевский, — еще сказали ему.

— А он большой начальник? — спросил Дмитрий.

— Он большой силы человек, — ответили ему люди.

— А где же он живет?

— Вон, — указали люди за окно, на высокую стену над самым речным обрывом.

— А чего же он боится, если так огородился? — спросил Дмитрий.

— Его боятся начальники и содержат под присмотром, а ночью и под замком, — ответили люди.

Дмитрий подошел к высокой стене, за которой находился Эр соготох, обошел вокруг нее, но везде было пусто. Вышел из будки казак и отогнал его.

И побрел Дмитрий к себе в тайгу.

И потом, вспоминая о прошлом, не один раз рассказывал он родным об удивительном человеке, так и называя его «Эр соготох».

В Хампе мы расстались с нашим переводчиком Петром Хрисанфовичем Староватовым и продолжили путь транзитными путниками, «без языка», как когда-то, на Ньюской тропе. Ехали мы не на почтовых, то есть непрерывным, в том числе и ночным, гоном, а на сквозных лошадях, делая остановки и ночлеги.

«Что-то принесет нам новый ночлег?» — как-то раз загадали мы, забывнув и заждавшись жилья. Но это было на одном из самых больших перегонов, и станок подошел верст через десять после того, как мы настроились ждать его.

Давно уже засияли звезды, а жилья все не было. Прошло еще немало времени, прежде чем где-то впереди забрезжило смутное красноватое пламя. Наконец мы подъехали к юрте, сверху донизу укрытой снегом и метавшей в небо множество искр.

Вошли, и, как это бывает, сразу понравилось. Молодая семья была в сборе за столом, у веселого камелька.

Мы застали людей за необычным делом: занимался нигде не зарегистрированный домашний кружок ликбеза. Так вдруг открылось путникам изнутри это жилье, которое недавно мы увидели подобным снежному сугробу.

Одни в окружающем безлюдье, далекие, казалось бы, от событий большого человеческого мира, отбиваясь неугасимым огнем от наседающей стужи, люди терпеливо, как добывают огонь из кремневой искры, постигали грамоту.

За столом сидели две женщины, двое мужчин и маленькая, лет восьми, девочка. Это

были две сестры с мужьями и дочь старшей из них. Занятия вел молодой паренек — муж младшей сестры, очень красивой юной женщины. Особенно была увлечена этим необыкновенным уроком его юная помощница — обаятельная черноглазая девочка. Торжественно и радостно делилась она, вероятно, самыми последними полученными в школе знаниями. Тонкий ее голосок был напряжен и звонок от волнения. Взрослые женщины, казалось, были покорены умением маленькой грамотейки.

Взрослые по очереди прочитывали слова и затем старательно записывали их. Мы подсели к столу, и неожиданно завязалась дружная беседа, хотя мы и не знали языка друг друга. Продолжался будто все тот же урок грамоты, но только теперь им руководило наше обоюдное желание поговорить.

С помощью извлеченного из дорожной сумки словарика затеялась своего рода игра в разговор. Вычитав из словарика то или иное якутское слово, мы стали спрашивать наших собеседников: «Баар?» («Есть?»), и сперва маленькая Варвара, а за нею и все остальные стали отвечать «баар» или «суох» («нет»), изредка переспрашивая: «Туох?» («Что?»)

— Варвара, самыр баар?

— Суох, хаар, баар.

Мы заранее вычитали из словарика слово «самыр» («дождь»), и нам ответили: «Дождя нет, но есть «хаар»; мы заглянули в словарик и поняли, что есть «снег».

— Кюн баар?

— Суох, сулус баар!

И всем нам понятно: солнца сейчас нет, но есть на небе звезды.

Незамысловатый, но все же разговор.

Затем мы стали рисовать разные предметы, называя их по-русски и по-якутски, и записывать названия. Потом узнали имена друг друга, и каждый старательно написал свое имя на отдельной бумажке.

Люди любовались этими, можно сказать, нарисованными словами.

Случилось, что во время беседы молодой учитель указал на ломтик пресной якутской лепешки.

— Лепёске,— сказал он и спросил: — А по-русски как будет?

— Лепешка.

— А килиёп? — указал он на кусок нашего дорожного хлеба.

— Хлеб.

— Совсем как по-якутски! — удивился учитель и снова спросил: — А остуол?

— Так и будет «стол», — снова будто по-якутски пришлось ответить ему.

Мы все переглянулись между собой, так неожиданно было сходство якутских и русских слов.

— А кинйге как будет? — вдруг послышался нежный голосок маленькой Варвары.

Она приподняла букварь, показывая его и поглядывая с лукавым любопытством.

— И по-русски, Варвара, все равно — книга.

Тогда добродушный Спиридон, старший мужчина дома, решил, вероятно, разобраться во всем поосновательней. Он раскрыл букварь и указал в нем пальцем на одну картинку.

— Это по-якутски ты-раа-ктар, — сказал он раздельно и четко. — А по-русски как?

— Трактор! — дружно ответили мы.

Наши собеседники, казалось, были озадачены таким наличием в якутском словаре русских слов. Но в действительности мы натолкнулись на группу заимствованных слов, которые имеются в языке каждого народа: и хлеб, и стол, и книга — все это были предметы заимствованной таежным народом культуры. Они вошли в его жизнь вместе с готовыми названиями; и якуты считали эти названия своими.

Когда немного разъяснилось дело с этими якутскими и вместе русскими словами, мы потолковали о словах, одинаковых и у якута, и у русского, и у других народов Советской страны и за ее рубежом. Это были слова — «советы», «коммунисты», «социализм».

Списочек этих общих для многих народов слов, составленный Варварой, лежал перед нами, и нам казалось, что мы очень о многом и интересно потолковали.

И вдруг девочка спохватилась:

— А «белём бубл»? — воскликнула она. Тут же она внесла в список эти два слова.

Она считала их понятными для всех. Варвара ошиблась: выражение это, понятное многим по своему смыслу, у каждого народа звучит по-своему.

Но мы не стали ее разубеждать, так и оставив якутское «белем буол» («будь готов») рядом с другими, по-настоящему, и по смыслу и по звучанию, общими словами.

...Далеко за полночь мы укладывались спать. Юная Аксинья опустила серую сатиновую занавеску с крупными цветами, закрывающую угол молодоженов. Спиридон с женой и маленькой Варварой ушли за перегородку у камелька, и оттуда долго еще доносилась веселая болтовня и возня девочки; она разговаривала со своими

сапожками и чулками из заячьей шкурки, снимая их и развешивая просушить перед огнем.

И только муж Аксины оставался за столом у свечи и что-то долго писал. Как выяснилось утром, это были стихи, которые он подарил нам на память.

Каким-то необыкновенным сном спалось на этом ночлеге: рядом с теплым уютом постели непрестанно чувствовалось волшебное величие северной ночи.

Наутро... Впрочем, покинув этот уголок, мы выехали за пределы Вилюйского края. И навсегда запомнился этот последний вилюйский вечер.

Прошел еще не один день пути, прежде чем мы увидели северную столицу.

Якутск лежал в широкой долине, охваченной с запада подковой высоких кангаласских камней и уходящей на восток — в широкую открытую Ленскую долину.

Мы скатывались к нему по крутым уступам нагорного района, и высокие гребни его снежных крыш и неподвижные дымы приближались с каждой минутой.

Вскоре наши громоздкие сани медленно и неуклюже пробирались по улицам, а вокруг них непривычно торопливо сновали люди.

Словно на борту корабля, возвращающегося в гавань из дальнего плавания, чувствовали мы себя, въезжая в город после долгих таежных странствий.